«Посмотрите на город Нижний.
Поглядите на эти горы Дятловы!..»

(Из старинной исторической песни)

Добрый вечер!

Над дорогами опочивших лет давно улеглась усталая пыль...

Давно многие из близких и родных — это лишь подслеповатые образы на пожелтевших ликах фотографий.

Годы поджимают. Годы теснят к обрыву... Но разум свеж, как и полвека назад...

У меня нет желания удивлять кого-то, тем паче поучать! Просто хочется, это так естественно возрасту, что-то вспомнить вслух. Благодарно воскресить человеческие образы и чувства в кратких строках.

Прекрасно сказал один русский писатель прошлого века: «Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запомнились...»

Я хочу ненавязчиво припомнить, пусть эскизно, страницы из жизни замечательного русского города на Волге, его жителей.

Припомнить сороковые — восьмидесятые годы прошлого века. Особо воскресить шестидесятые годы, когда активно жил и работал в городе на Дятловых горах.

Более всего, конечно, я знал его культурную жизнь, молодежный мир тех лет.

Я застал последние отблески XIX века в живых образах его людей, в его нравственных и патриотических принципах. Сохранил в памяти живые голоса этих стариков.

Мое детство своим огненным крылом задела Великая Отечественная война. Я ее свидетель. Я видел славу России, дожил до ее смутных сумерек.

Но не сломался душою, потому что верую и надеюсь.

За окном — повечерье.

На дорогах жизни осела усталая пыль...

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДВОРИКИ

За крышами моей деревянной старонижегородской улицы, за садами, за скрытым Ковалихинским оврагом виден шатер Спасской церкви.

Справа от нее, вдали мачты радиополя, что лежит у старого городского кладбища, что возле так называемого Бугровского скита...

В тусклом огне вечернего неба над храмом толчея летающих стрижей.

Над кронами садов, близ открытых окон квартиры, — столп мошек, которых мы зовем просто: толкунчики.

Церковь Спаса без крестов и с худой кровлей кажется древней.

Стоит на земле лето 1943 года.

И мне казалась она очень старинной. Конечно, я не знал тогда, что ей всего сорок лет...

Летят вечерние стрижи. Скоро их успокоит июльский сумрак.

А когда густо стемнеет, могут прилететь «Юнкерсы».

Остатки дневного света отражаются на самых верховых облаках. В какой-то из комнат голосом давнего века монотонно пробили часы.

...Эти полуразмытые картины, эти звуки, этот мир звуков и ожиданий — начало моего детства. Мое мировхождение... Дальше все такое необозримое

Но первый образ, первое в будущей дороге, в странствиях, в открытиях и утратах — эти окна, смотрящие на вечернее небо, где торжествуют стрижи, стрижи — птицы моего детства.

А еще слышу голос далекий-далекий, родной-родной: «Юраша, ты бы слез с подоконника! Пойдем ужинать. Чаек с хлебом» Спать пора! Вот и стрижи угомонились...

* * *

«Все для фронта — все для победы!» — главные первые слова.

Первые живые эпизоды, которые я отчетливо помню, лежат в истоках пятого года бытия моего.

Встреча в госпитале, в вестибюле пединститута, с родным братом отца — дядей Гришей, что вышел на костылях. Потом проводы его же на фронт. Я сидел на коленях и трогал портупею и погоны. Прекрасно помню ноябрьский день на площади перед нижегородским кремлем. Толпы людей. Я сидел на чьих-то плечах и видел открытие памятника Кузьме Минину. Запомнил, как рвалось, зацепившись за воздетый палец мининской руки, красное покрывало... Но еще яснее вспоминаю празднование нового года, вернее, детскую елку в самые первые дни 1944 года.

В сумерках к нам сошлись ребята, дети родных и знакомых. Все радовались елке. Старшие узнавали многие игрушки, которые помнили, наверное, еще с дореволюционных времен. Какие-то самоделки из ваты сделала мама.

Как я понимаю теперь, у нашего действа был сценарий. Все имели свои костюмы и должны были их «защищать». Весь декабрь я разучивал с мамой вступительные строфы к пушкинской поэме «Руслан и Людмила»:

У Лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том...

Мама смастерила мне из картона шлем, нагрудное зерцало, щит, обклеив кусочками фольги. Картонным же был и меч. Потом в юности, увлекаясь Вертинским, я, запевая романс о клоуне, который машет мечом картонным, вспоминал свое детское явление в образе «Рурлана». Слово — Руслан — я, верно, не произносил. Мы ждали. Наконец, зажгли свечки на елке. Погасили электричество, которое по вечерам часто гасло безо всякого объявления. Я осматривал всех гостей. Помню, что моя первая «дошкольная любовь» Наташа Котылева была разодета какой-то царевной. Мой десятилетний двоюродный брат Алеша Елисеев достал, наверное, в театральном реквизите костюм чертенка. У него были рога, он поигрывал длинным хвостом, на конце которого, как у собаки-пуделя, был клок шерсти. Он первым вышел в круг. И вдруг запел каким-то басовитым голосом рылеевского «Ермака».

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

Взрослые были в восторге! Хотя сюжет явно не получился. Ему дали бумажный пакет с подарком. Ребятишки зашумели: «Что там!?» Я точно знал, что там: одно яблоко, одна конфета в «фантике», домашние сдобные лепешки и немного фиников. Финики в тогдашнюю Россию прибывали от союзников. Ведь основной «вал» продовольственных поставок шел не через героическую полярную зону, а через Иран, где стояли наши войска. И финики можно было взять по карточкам вместо сахарина или даже сахара. Ну да ладно! Бог с ними, с «поставками по лендлизу»! Главное — все это было редкостью и счастьем.

Я как «Руслан» был вызван «на сцену», кто-то поднял и поставил «картонного витязя» на легкий стул, которые были в те годы в каждом старом доме.

Воцарилось молчание, мама радостно смотрела на меня, она ожидала, что я восхищу всех своими талантами.

Я раскрыл рот и произнес то, что детскому уму было всего привычнее. Тем более, в полутемной комнате:

— Граждане, воздушная тревога!

Наступила великая тишина. Мама расплакалась. Плакала мама Наташи Котылевой. Кто-то вздохнул: «Ой! Господи! Война проклятая...»

И вот что странно: вспоминая домашние елки военных и послевоенных лет, я больше помню не угощение и случайное сборище ровесников, а сами дома. Так, в душу «запал» дом на нынешней улице Нестерова, сад вокруг него, где росли мощные властные ели. Именно ели, а не елочки, где мы пели в хороводах песни. Там все было, как и в других нижегородских домах: приветливые люди, темноватые коридоры, печное тепло, непременные «венские» стулья, а главное — интересные книги с картинками типа «Жизнь животных» Брэма. Этот дом в начале нового века сломали... А я его помню и в свои тридцать и сорок лет, когда лежал напротив в «королевской» больнице № 5. Все удивлялись в нашей палате на меня, когда я вставал по-детски — прижав лоб ко стеклу окна — и подолгу смотрел через улицу. Мне вспоминалось детство, похожее на размытый потек акварели. Мягкая размытая картина: длинный бревенчатый дом, его большие окна. Там жило тепло, что согрело мою сиротскую душу добрым словом и чужой незнакомой рукой, погладившей по голове. Прекрасно помню еще один приют: дом на Ковалихе с крутой лестницей на второй этаж, с удивительно узкой площадкой перед дверью в квартиру. Там жила мамина подруга тетя Тося с дочкой, моей ровесницей — Наташей. С Наташей, спустя годы, я учился в детской художественной школе, писал этюды и на Откосе, и в приволжском селе Безводном. (Даже сохранился этюд со стожками, помню, когда мы их писали, выползла змея и пришлось бросать занятия искусством!)

Но елки в доме на Ковалихе были самыми необычными, потому что родная сестра тети Тоси была Валентина Ходько — ведущий бутафор нашего оперного театра. Там нам, малышам, давали красивые маски то с мордой зайца, то поросенка, то шамаханской царицы. Под елкой стояли деды Морозы — какие сказочные дива. На столах почивали златые ковши! Тогда я не понимал, что попал в профессиональный театр. Деревянный старый Нижний! Прости, но я любил заглядывать в твои окна первых этажей, где часто просматривалась зимним вечером радость новогодья: сорок пятого, сорок седьмого, пятидесятого!..

Военные годы. Мужчин в домах мало. И часто в детское домашнее новогоднее веселье являлся самочинный дед Мороз — с белой ватной бородою, с красным носом, в шубейке и валенках. Он пытался говорить странным басовитым голосом. Но милый обман тут же раскрывался. И вся ребятня, радуясь своей прозорливости, восторженно кричала: «Это тетя! Это тетя Тося...Катя!.. Это же не дед Мороз, а тетя!!»

«Наши деды Морозы» были на фронте и многих мы не помнили в лица! То, что нас воспитывали матери, бабушки, воспитывали женщины — несомненно по-доброму сказалось на характерах романтиков шестидесятых годов. Мы выросли сыновьями матерей, но не «маминькими сынками». Мы с первой щепотки памяти чтили матушку Россию. ...Недавно по случаю своего юбилея мой друг, Почетный гражданин Нижегородской области, однокурсник Саша Цирульников, на вопрос ведущего телекомпании: «Кто воспитали вас в жизни?» Ответил удивительно точно: «Война и Победа!»

Ведь все великие слова нашего поколения — женского рода: Мать, Родина, Россия, война и Победа! И главное качество человеческого характера — Совесть!

Может быть, из-за этого женского окружения я никогда не тянулся к технике.

Единственно, в те годы сороковые любил, сидя на подоконнике,

рассматривать машины. Я знал «пикапы», знал «эмки», знал наши грузовички, но особенно любил в те годы, когда под окнами вставала газогенераторная полуторка. Дивился ее высоким колонкам, что стояли позади кабины, и некто из кузова бросал в их чрева маленькие деревянные бруски. Печка на колесах! Сказка! Война шла под уклон. На улицах стали частыми «виллисы», который у нас на дворах «спецы» называли «штабнушками». И словно грандиозные механические животные, неслись по нижегородским улицам «студебеккеры». Фронтовики говорили: «На них теперь пол-армии сидит!»

СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ....

У каждого исторического периода есть единая тональность, особенность духовного настроя. У «сороковых и роковых» было великое чувство внутреннего единения перед общей бедой. Взаимное сопереживание. Дом и двор превращались в микромиры, где возникало необъявленное братство. Человек «с нашего двора» обретал даже в детской душе черты чего-то родственного. Эти маленькие живые микромиры и стали «кирпичиками», создавшими мощную стену Великого тыла Великой Отечественной войны! В студенческие годы я написал «Балладу о картофеле» — строки о тогда еще недавнем времени, «балладу о женских руках»: «Эх, найти бы скатерть-самобранку. И картошки досыта поесть!»

В своей книге «Нижегородская отчина» я описал уже хождения на картофельные поля, которые лежали на том пустынном месте, где в пятидесятые годы возникла Бекетовка, а в шестидесятые — микрорайоны Лапшихи. Это там летом 1943 года картофельные поля, где были только женщины да мы, малыши, обстрелял «Юнкерс». Он строчил из пулеметов нагло, средь бела дня, пока не ожили зенитные батареи в чащах Щелоковского хутора.

Наш двухэтажный деревянный дом на Алексеевской (прежде улице Дзержинского №19) был построен в первой трети XIX века.

В нем жило шесть или семь семей. Общим был огромный подвал.

Туда ходить была обязанность моего приемного деда — Василия Михайловича и моя. Со двора шел крытый спуск. Прежде, чем открыть дверь, зажигали свечу. Я сжимал ее в ручонке. В подвале шарахались крысы. С правой стороны был досчатый «загон» — наш угол, куда ссыпали на зиму картошку. Я подсвечивал, чтобы дед снял с крюка керосиновый фонарь «летучая мышь». Потом залезали в «загон»: перебирали картошку, ближе к весне она начинала прорастать, и мы обрывали побеги...

К картошке в России тех времен отношение было почти религиозное, как к сухой корке хлеба в первую русскую смуту XVII века, когда по приокским проселкам бродила Ульяна Осоргина, богатая женщина, что, раздав свои запасы народу, сама пошла с толпами нищих.

В детском саду, это уже в сорок пятом, мы разучивали белорусскую песню, пели ее как-то азартно, понимали ее смысл:

Из мешка бери картошку
И питайся понемножку!
Трам-тамтам, там, там:
Без картошки худо нам!

Моей святой обязанностью было натаскивание в дом воды. Колонка была во дворе. И поначалу я носил по полведра, заливая бак.

Подлинным авралом для семьи была заготовка дров. Машину с бревнами ждали заранее. Дежурили, потом широко распахивались обе створки ворот. Лес сваливали посреди двора. Соседи обсуждали:

— Эх, ты, все больше березовые! Осины-то почти и нет!

Наступал день, когда дед, бабушка, мама выходили на пилку. «Козлы» были общими в доме. Начинала петь двуручная пила. Она визжа-

ла все воскресенье от рассвета до заката. Иногда я хватался за ручку пилы, но плохо тянул на себя и меня быстро «увольняли». Потом дед брался за колун, иногда приглашая кого-то из друзей из депо Ромадановского вокзала. Сарай наш к этому дню был убран, вычищен, и все семейство начинало укладывать поленья. Работа была веселой, потому что к ней были причастны все-все! Я таскал березовые дрова и думал, как в холодную пору зимнего вечера надумают растопить печку-голландку, красавицу, одетую в белые старинные изразцы. Как аккуратно положат несколько ровных полешек и, набрав щепы, ободрав бересты, подсунут их в основание подтопка. Я присяду рядышком, а мама поднесет спичку к отрывкам бересты, и они внезапно победно вспыхнут, а через пять минут пламя гудит и, освещая лица, согревает промерзшую комнату...

Я оставил дом на Алексеевской в 1959 году, с тех пор без переездов живу на углу Ошары и Белинского. Но на памяти осталось (с довоенных времен!) четыре цифры от номера телефона. Им семьдесят лет. Они старше меня... 19-78... Странно, даже этот «огрызок» цифр стал элегическим посланием из времен минувших... По нему звонил любимой девушке, сообщал о смерти близких, по этому номеру заказывал с Камчатки или Памира разговор с мамой. Надо же, и эта арифметика звучит почти поэтической речью! Четыре цифры — это история жизни. Правда, тот телефон висел на стене...

* * *

Наверное, почти каждое детство помнит вкусные угощения. Военные годы особенные. О многом только слышал, даже в магазинах не увидишь! Василий Михайлович, отчим мамы, мой самый добрый дед, других я не застал, работал машинистом паровоза и, видимо, как военнослужащий, имел паек, потому что изредка в доме появлялись удивительно вкусные вещи: «американская колбаса» в жестяной банке. (Потом в шестидесятые годы такой продукт у нас называли «сосисочным «фаршем»), яичный порошок, о котором в народе ходило море анекдотов, тушенка, финики... Наш хлебный магазинчик находился в соседнем доме № 17 по той же улице Дзержинского. Я с первых отблесков детской памяти и поныне вижу въяве тесаное помещение, тусклый свет. Сперва, как войдешь — был прилавок, а за ним тетенька в белом халате. Перед ней механические весы, где сходились «утиные головки». На одну чашу клали положенную по карточкам пайку хлеба, а на другой чашке — выстраивались гирьки. На хлебную чашку часто подбрасывали довески хлеба. Я глядел снизу вверх на прилавок и тихо радовался: «Это будет мое!»

Взрослые, выходя на улицу, довески хлеба безоговорочно давали мне.

Как пахли эти обрезки хлеба на морозе! А вообще, приобретение хлеба по карточкам сопровождалось однообразноной процедурой: «тетенька» брала наши карточки, которые давались па определенные сроки, у меня была своя карточка — «иждивенца», и ножницами вырезала «дневную норму». И так день за днем, месяцы, месяцы, годы вплоть до реформы 1947 года. Кстати, вспомнилось — вместо мяса по карточкам давали иногда сухие грибы. Упразднение карточек и свободные магазины — все это прозвучало для людей, как вторая победа. Потом почти ежегодно по радио сообщали сокращение цен. На все — от хлеба до гвоздей. Соседи собирались и обсуждали эти отрадные вести. Радовались, что идет постоянно облегчение жизни. Пусть на воробьиный шажок, но идет, идет неуклонно. В свободных магазинах внезапно вырос «Парад» продуктов. Имея большие деньги, туда можно было ходить. Я же с мамой или бабушкой там бывал больше, как в музейном зале. Правда, поскольку там лежала колбаса, меня порой баловали, покупая то пятьдесят или сто граммов. Продавцы, привыкшие к скудным карточным годам, сами при детях, безропотно и аккуратно отрезали эти мизерные кусочки.

Красная икра стояла в больших деревянных бочках прямо под рукой продавщицы, и «хозяйка», взяв плоскую деревянную лопатку, подхватывала кучку икры и намазывала ее на плотную бумагу, которая лежала на весах. А этой икры — бери, насколько денег хватит! Красная икра и красная рыба-кета, горбуша заполняли прилавки. Полки были забиты тресковой печенью и крабами. Черная икра была в больших круглых банках, похожих на противотанковую мину, или маленькие, как автоматный диск. Балыки севрюги и осетрины — любуйся! Не больно их брали. Народ, вышедший из голода, обезденеженный считал эти дары моря дорогим баловством. Главное — хлеба вдосталь! Даже батоны появились!

Уже в 1952 году, когда я жил на станции Зименки близ Арзамаса, рыжий мальчишка — «туземец», с которым мы ловили раков в речке Ункор, как истинный философ объяснял мне трудность жизни в деревне и городскую «лафу»: «Вам что не жить: у вас там в магазинах — ба-тон-чики!» Мне почему-то было стыдно. И я благородно отказывался от совместно пойманных раков и даже отдал ему небольшого щуренка, что попался в наши дурные, но ловкие руки!

* * *

Я в раннем детстве часто болел, особенно воспалением легких. Надо мною, конечно, тряслись. Видимо, по старому знакомству с моей «папиной» бабушкой Надеждой Николаевной ко мне приходили на домашний осмотр знаменитые нижегородские врачи, которые еще работали при земстве, имели частную практику — Пальмов и Залкинд. Пальмов меня, еще грудного, рассказывали, спас от какого-то гнойного кожного заболевания, а приход Залкинда на дом помню. Родные встречали его восторженно, кто-то снимал пальто, кто-то тащил кувшин с водою и нес полотенце.

Залкинд, старичок-еврей, сильно картавил, но удивительно умел приносить уют и покой. Он прослушивал меня, вел добрые беседы, заглядывал в рот и сокрушенно произносил: «Гланды! Гланды». Что-то много писал или выписывал, присев за стол. Моя судьба в грядущем определялась по часам.

Когда речь заходила о питании, он неизменно говорил: «Мальчику нужно пюре из картофеля с молоком!»

Когда он уходил, наматывал на шею шарф, дедушка ловко подскакивал к нему с пальто, доктор одевался. А дед, как-то виртуозно при рукопожатии передавал ему деньгу. Врач, не рассматривая (цену знали!), отправлял купюру в карман, повторяя возле дверей: — Мальчику необходимо картофельное пюре. С молоком! Лекарства есть на Ошаре, в аптеке! Будьте здоровы!..

— Большое спасибочко! Большое спасибочко! — говорил дед.

Душа моя не принимала словечка «Спасибочко!!!»

Но у деда и домашних было какое-то святое отношение к профессии врача. Все, ожидая его, одевались в праздничное, убирали квартиру, а дед облачался в мундир железнодорожника с погонами. В те времена, в ту пору «паровозники», как говорила ребятня, имели особую форму. Война на все и всех отложила свой отпечаток...

* * *

...Нижегородские дворики — светлая и уютная память детства.

Она свободная, густая, рвущаяся к солнцу, как подзаборная крапива на склонах Ковалихинского оврага. Мир неожиданных картин. На столбе забора раскачивается большая красная птица. Можно подумать, что появился в округе какой-то огромный снегирь. Но это лишь мимолетная зыбкая сказка. А на деле все просто: багряные отблески заката упали на обычную сороку-белобоку. Причуды позднего вечера на исходе мая.

Деревянное царство нижегородского окраинного дворика все, словно

изнутри, наполнилось красноватым свечением: ряды старых залатанных сараев, вросший в землю каретник из могучих бревен, построенный полтора века назад, и наш двухэтажный дом с оранжевыми окнами.

На таких улочках старого Нижнего жила истинно сельская тишина. Над цветочными картинами вспыхивали в пестром множестве крылья стрекоз и бабочек. Мы их по своим приметам различали: «траурница», «капустница», какая-то стрекоза была наречена «пожарницей»... Сверлили воздух своим гудением майские жуки. Их темные точки тревожили пунктирами очарованное, светлое небо. Лоскуты старого Нижнего есть еще кое-где в районе Ямской улицы, в приокской части улицы Горького. Это неповторимый облик планомерно, зло ныне разрушается на любимых мною улицах Невзоровой, Дунаева. До революции этот угол величался «новой стройкой». Тут были улицы Мининская и Пожарского. Порубежная с полями. Напольно-монастырская, Напольно-острожная были по решению городской думы переименованы в 1911 году в честь столетия со дня рождения в улицу Белинского. Надо бы ей стать улицей Пушкина: здесь и сад Пушкинский, здесь и оперный театр имени поэта, его памятник. Но против воли наших дедов-прадедов грешно высказываться!.. В мае в старых нижегородских двориках властвовали сирень, жасмин и яблоне-вишневые сады!

Часто во дворах, как и в нашем, стояли водоколонки. Это были друзья наших детских шалостей! В жаркие летние дни мы брызгались возле них, зажимая ладонями кран. Все это длилось до тех пор, пока не открывалось где-то окно, и кто-то из соседей не произносил: «А ну-ка, оставьте колонку в покое!» Летними вечерами мы на законном основании гордо и независимо вешали ведро и дергали ручку: нас в это время посылали поливать «частные палисадники», где росли крыжовник и малина, мальва и золотые шары. Между деревьями висели веревки для белья. Так что тайн относительно наличного в семьях барахла не было. Даже все исподнее «обнародовалось»! Все улицы были покрыты булыжником, асфальт — привилегия центральных магистралей. Иногда булыжником покрывали и часть дворов. Я помню, как ловко работали рабочие. После войны — это были часто безногие инвалиды. На «коммунальных» телегах, которые тащили жалкие усталые лошади, привозили песок и булыжник. Когда по земле рассыпали и разравнивали песок, рабочие, словно художники-мозаисты, аккуратно, постукивая молотком, подгоняли отдельные камни. Безногие передвигались на руках, другие стояли на коленях. В час перекура тут же ели свои, прихваченные из дома завтраки: хлеб, картошку, огурец, а потом тут же ложились отдыхать, прикрыв лицо кепкой или пилоткой. Тяжкий это был труд! Зато, когда пошла всеобщая «асфальтизация города», путь к ней был капитально совершен этими фронтовиками. Только вези асфальт.

* * *

Почти в каждом дворике был стол и простые скамьи. Днем это было наше достояние, а вечером собирался «дворовой синклит»: чаще судачили, реже играли в карты или домино. Обсуждать соседушкам было что!

Ведь плох тот двор, который не пытается искоренять пороки! Не борется за чистоту, нравственность! В каждом дворе должен быть свой пьяница, свой «титулованный дурак», своя барышня-стерва, которая гуляет на танцплощадке Дома офицеров в Холодном переулке.

Но непререкаемым авторитетом, мировым судьей, был участковый милиционер. Его все знали, уважали. Старики, по привычке начала века, между собой называли «квартальным». И млад, и стар почтенно здоровались с ним. Он все про всех знал, но не надоедал визитами. Он был, словно вечно, рядом. Со своей, наверное, провезенной еще с фронта полевой сумкой на брезентовом ремне участковый возникал внезапно и бесшумно, вскользь интересуясь, что за веселье давече вечером было в такой-то квартире.

* * *

В своем лирическом повествовании «Эта тихая-тихая улица» я уже называл имена тех, кто жил в последнем квартале улицы Ульянова, в квартале между Провиантской и Трудовой.

Громкие имена! Это великий конструктор судов на подводных крыльях и ракетопланов — Ростислав Алексеев. Знаменитая плеяда русских физиков Гапоновых-Греховых, из которой вышли академики и члены-корреспонденты Академии наук, организаторы новых научных институтов, лауреаты самых почетных премий. Родоначальница этой династии Мария Тихоновна Грехова — почетный гражданин нашего города.

С ее сыном Сергеем Викторовичем я в близких друзьях не был, но в футбол мы вместе поигрывали на мостовой нашей улицы. Вечерами его разыскивали родители, и над Ковалихой разносился крик: «Сережа! Сережа!» Помнится, как-то в такую же пору двоюродный брат, зазывая домой своего черного пойнтера, закричал: «Анод! Анод!» Старший Гапонов, автор монографий по радиоэлектронике (он выскочил на поиски сына в пижаме), услыхав собачью кличку, пожал плечами и удивленно изрек: «А почему не катод?»

В соседнем от нас доме проживала прекрасная русская актриса Татьяна Петровна Рождественская, родная тетка знаменитого дирижера.

Здесь жил автор самой добротной книги прошлого века о нашем городе — Алексей Иванович Елисеев. Так получилось, что на нашем дворе жили три будущих члена Союза писателей России: Елисеев, дочь известного профессора-сельхозника Маргарита Ногтева, с которой мы одно время учились на разных курсах на филфаке университета, и ваш покорный слуга. Сбоку от дома Р. Алексеева проживала А.А. Савельева, старшая дочь знаменитого земского деятеля, депутата Государственной думы Александра Александровича Савельева.

Не могу не вспомнить слова Савельева, обращенные к его другу писателю Короленко: «Бросьте вы, батюшка, эти термины: оппозиция, партии, консерваторы, либералы. И чего Вы с ними не разберетесь? Смотрите проще: одни у нас воруют и желают сохранить эту возможность: это наш консерватизм, мы желали бы прекратить воровство, да не можем. Вот и вся либеральная оппозиция!»

Будучи подругой моей бабушки, Антонина Александровна Савельева, воспитанница Мариинского института благородных девиц, приглашала меня с моим кузеном Андреем в свой дом, бывшую усадьбу Савельевых, что лежала в саду напротив.

Все комнаты и коридоры были плотно заставлены мебелью в стиле ампир, были они, видимо, начала XIX века с медными украшениями. «Все здесь стоит, как было при маме. Я ничего после ее кончины не двигала!» — заявляла она нам с гордостью, подчеркивая, сейчас понимаю, верность семейным традициям.

Она открывала дверь на веранду и доверительно говорила: «Я прекрасно помню, как здесь папа любил пить чай с Владимиром Галактионовичем Короленко! А вам, молодые люди, у меня подарок!». Она подарила учебную шпагу. Оттого я ее запомнил навечно! Мы вошли в сад Савельевых десятилетними мальчишками, которые гоняли под ее окнами на булыжнике рваный мяч, а вышли в свой XX век уже мушкетерами короля, наследниками страниц Александра Дюма.

Первым в нашем квартале машиной обзавелся Ростислав Алексеев. Может, это был трофейный автомобиль. Наши юные головы дивило то, что у него был впереди багажник, а сзади мотор! Между «домом инженеров», так мы называли алексеевский дом, стоявший в небольшом саду над Ковалихинским оврагом, и старорежимной городской усадьбой Савельевых появилась удивительное по тем временам произведение «архитектуры малых форм» — железный гараж. Это проклятье нынешних дворов и микрорайонов тогда было ошеломляющим новшеством!

Я всегда был далек от техники, но проехаться на автомобиле оставалось мечтою. Мария Тихоновна Грехова вывозила в Зеленый город своего младшего сына Сережу, ныне члена-корреспндента РАН, и по просьбе моей мамы, по-соседски, прихватила меня. Машина была «штабнушка», и я от счастья был в полупростращии до самого пионерского лагеря, где нам уготовано было жить.

Сергей Гапонов был пионером, я еще октябренком, но мы сразу же совершили прямо-таки «наполеоновскую карьеру»: Сергей стал председателем старшего отряда, а я — главою у малышей.

Но я был плохой октябренок: ловил в лужах тритонов, ныл, швырял в болотце кирпичи.

Хорошо помню пионерский костер, на котором пионервожатая счастливым голосом говорила:

— Ребята! Ведь мы четвертый год живем без войны! Не верится!

Вся ребятня ее понимала. Мы пели новую песню «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем!»

Тогда нам сказали, что стихи написал поэт Лев Ошанин, с котором мы будем хорошо знакомы в шестидесятые годы. Он величал меня тогда: «Мой любимый поэт на Волге!»

Но мы скучали, появлялись даже мысли о побеге! Добрейшая Мария Тихоновна приехала нас проверить. Побеседовала с нами, потом с местным начальством и в одночасье увезла нас домой, на родную улицу Ульянова.

Больше я не бывал в лагерях. Но родные мне говорили: плохо кончишь год — поедешь в пионерский лагерь. Я работал, чтобы отправили на дачу в Великий Враг, в Безводное, на Керженец, на свободу!

На нашей улице жил народ неторопливый, все ходили степенно и медленно. Отличался лишь писатель и краевед, мой дядюшка, Алексей Иванович Елисеев. Его стремительная, почти летящая походка, беговая ходьба была хорошо известна старожилам города! Пограничной крепостью нашего квартала была психиатрическая лечебница, основанная на заре XX века великим ученым Кащенко. Тамошние истории обсуждал весь угол. Как-то раз залез на высокий клен помешанный в разуме солдатик. Его тщетно пытались снять. Он диктовал условия: «Пусть прикажет офицер, тогда слезу».

Санитары бросились на улицу, остановили и привели кого-то капитана с золотыми погонами. Он зычно проорал: «Приказываю слезть!» Безумный солдатишка, пытаясь рукой отдать честь, сполз на землю. И тут был схвачен. «Ой, война, что ты, подлая, сделала!..»

Стремительная походка писателя Елисеева стала чем-то привычным в медлительном ритме старинной улицы. Но вот ситуация — однажды из лечебницы по Ульянова 41 сбежал еще не переодетый в халат новообретенный псих. Была послана погоня из решительных медбратьев. Настичь и водворить!

Мой дядюшка Алексей Иванович в ту пору стремительно перемещался вдоль улицы Ульянова к Дворцу пионеров и далее к площади Минина, на службу в издательство. На перекрестке с улицей Пискунова его настигли. Взяли за белые рученьки. Елисеев, капитан контрразведки в годы войны, сразу понял что-то неладно и рванулся.

— Я писатель Елисеев!

— Да, да, — успокаивали «братья», — вы писатель, конечно писатель!

— Я — директор книжного издательства!

— Конечно, вы директор! Это все знают!

Дело принимало нешуточный оборот, но здесь случилось чудо: откуда-то из-за угла возник драматург и прозаик Геннадий Федоров!

— Здравствуй, Лешка! Ты чего здесь с врачами! Я к тебе в издательство иду!

— Геннадий Иванович! Гена! Эти ко мне пристали... Руки заламывают! Что, драться с ними? Не верят, что я директор книжного издательства!

Федоров быстро сообразил ситуацию и вынул из кармана удостоверение корреспондента «Известий». «Медбратья» сдались.

Друзья-писатели двинулись к площади Минина и Пожарского.

— «Лешка! — заговорил Геннадий Федоров, — с тебя — бутылка, я ведь спас тебя!»

Я вспомнил одного из приметных людей нашего нижегородского угла с забавной истории, хотя эта личность требует иного разговора. А.И. Елисеев был женат на родной сестре моего отца — Надежде Васильевне Адриановой, которая длительное время была директором Дома ученых, руководила корпунктом Куйбышевской кинохроники в нашем городе. Елисеев не был прозаиком со своеобразным стилем, не литературоведом, открывшим новые пласты истории литературы. Он был летописцем нашего города. И что бы ни судачили, но о Нижнем XIX века лучшую книгу оставил Н.И. Храмцовский, а о нашем отчем гнезде в XX веке — это труд Елисеева — «Родной город».

Да, при всей своей добросовестности и полноте эта книга вобрала в себя весь спектр иллюзий и спорных оценок. Что делать, но мы были такие и других взглядов не разделяли. Смешно было бы осуждать Храмцовского за его восторженный монархизм. Студент-филолог Алексей Елисеев, по предложению профессора Свободова, был назначен директором организовывавшегося музея Горького, что вначале имел комнатушки в областной библиотеке. Он жил горьковской темой. В семье братья жены, шутя, величали его «Елисеев имени Горького». Он был в деловой переписке с Максимом Горьким. Она опубликована в собрании сочинений писателя.

След его вечен в истории города, как создателя и первого директора Литературного музея А.М. Горького и добротной книги о городе Горьком, что вышла тремя тиражами. (Первое издание — «Рассказы о родном городе».)

Елисеев был человеком замкнутым. Особенно таким стал, говорили старшие, после службы в контрразведке, после Великой Отечественной войны. Круг его знакомых, которых я видел на семейных сборах, был невелик и отличался постоянством.

Помню Михаила Петровича Званцева, выдающегося знатока народного искусства и зодчества, актера, затем телережиссера Олега Борисовича Эллинского, его жену артистку ТЮЗа Варвару Сергееву, друга адриановской семьи с довоенных времен Олега Гусева, старенькую актрису Дину Сергеевну (фамилию не упомню), писателей Геннадия Федорова и Нила Бирюкова с супругой. Эти ежегодные сборы проходили обычно 30 сентября в день именин тети моей — Надежды Васильевны.

На этих тихих, доверительных староинтеллигентских застольях сам Алексей Иванович восседал во главе стола, в отличие от других, поднимая рюмки только с хересом. В марочных винах он знал толк и, наслаждаясь хересом, говорил: «Вот настоящее мужское вино!» И укоризненно поглядывая на нас, молодежь, поучал: «Водку пьете, а настоящих вин не понимаете. Эх, молодежь!»

Потом резко поднимался из-за стола, садясь за пианино, и начинал музицировать, запевать любимые романсы. Это было святодейство, все смолкали, иногда подпевали…

Алексея Ивановича, видимо, смущало мое быстротечное вхождение в Союз писателей и частые издания книг. Он боялся, чтобы не началось головокружение. Но я всегда сам сдержанно и даже испуганно встречал эти успехи, неизменно, всю жизнь. Не «рвал пупа» во имя славы, очень многое, наверное, опустил и опускаю, помня великий завет: «Служенье муз не терпит суеты…»

Я же, грешный, тогда понимал и ощущал это, как молчаливую враждебность. Время шло, Алексею Ивановичу нравилось мое не показное влечение к книгам, мы неторопливо, но становились друзьями. Он весело спрашивал: «Ну, что у вас там, в Союзе писателей?»

Когда я попадал в «проработку» на собраниях писателей, он меня отстаивал, волновался, в перерыве сосал в коридоре валидол.

Нельзя забывать, что, как главный редактор Горьковского книжного издательства, Елисеев решился издать и во многом принял удар на себя за выпуск книги выдающегося краеведа-нижегородца Дмитрия Смирнова «Картинки нижегородского быта XIX века». В Москве была спровоцирована травля автора.

Самого Елисеева наградили партийным выговором «с занесением в личное дело», убрали из кресла директора.

Жизнь жестоко била его. Не стану все вспоминать...

У меня опять в глазах старая-старая картина — квартира в доме на Ульянова — 54, слышу — хлопает входная дверь, потом приближаются торопливые шаги по коридору, распахивается дверь в большую комнату. Алексей Иванович кладет на рояль пачку новых книг, открывает клавиатуру и начинает играть, никого не замечая, словно стремясь излить скрытые и только что передуманные и пережитые чувства.

К слову, он начал играть на фортепьяно самоучкой, но прекрасно читал ноты и не мог жить без этих спонтанных вспышек за клавишами. Книжником Елисеев был сумасшедшим. Собирал пушкиниану, нижегородику. Мне часто говорил с обидой в голосе: «Вот ты, Юрий, ездишь по всей стране, а разве не знаешь, что я собираю книги о городах! Бери и на мою долю!»

В кабинет его я боялся входить. Но в детстве в отсутствие дяди Алеши вместе с двоюродным братом Андреем бывал там и дивился обилию книг. У нас с мамой было три полочки, в основном, с пестрыми переплетами серии «Тридцать лет советской литературы». — Была такая книжная радость! Томики с разноцветными переплетами произведений К. Симонова, И. Инбер, П. Павленко, А. Фадеева и другие. По этим книгам я узнал имена современников, а в комнате у Алексея Ивановича, любуясь на книги издательства «Академия», я узнавал имена Аввакума, художника Венецианова, Эразма Роттердамского...

Трогал полочку над диваном с миниатюрными книжечками малой серии «библиотеки поэта». Помню, как в середине пятидесятых, когда Елисеев работал над книгой о городе, его стол окружали стулья с завалами книг по краеведению, которые выдавали ему в областной библиотеке.

Интересы Елисеева порой открывались для меня внезапно. В заволжских лугах, когда живали на даче в Великом Враге или Татинце, он, бродя по разнотравью, начинал сыпать латынью, называя названия цветов! Удивлял ботаническими познаньями. Хотя наши пристрастия — охота, бродяжничество у костров — ему были чужды!

Окна его кабинета на Ульянова 54 выходили на аллею из полдюжины вековых могучих тополей. Они были замшелые, какие-то одухотворенные. В 2000 году их срубили. Скоро и «дом детства» снесут. Уверен. «Новые русские» готовят новые территории старого Нижнего под свои узорные скворечники. Бизнес-замки! Всему бывает исход...

Уверен, что смертный приговор давно подписан зыбкой цивилизации «нижегородских двориков». Они слишком напоминают XIX век, с его доброй литературой и уважительностью к принципам совести. Общество торопливо избавляет свою разнузданную душу от постыдной болезни сентиментализма и памяти.

Все ж, поживите еще, старые палисадники!

Еще хоть одним маем вздохни, сирень!

Осыпься, как строки романса, нежный и такой наивный цвет жасминового куста!

«Вертикаль», № 5, 2005 г.

«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ» С ВОЛЖСКОГО ОТКОСА

...Так уж случилось, что впервые я побывал в помещении Горьковского отделения Союза писателей СССР в дни его переселения из однокомнатной «голубятни» в Доме Труда на начальном углу площади Минина и Пожарского и Свердловки в тогдашнее здание Дома партийного просвещения (ныне там помещается хоровая капелла). Совсем рядом! Секретарь Союза писателей Нил Григорьевич Бирюков попросил нашего декана Орлова прислать молодые дарования помочь перетаскать мебель. Писательские пожитки были убоги: два шкафа, два стола, десяток стульев, несколько пачек книг, деловых бумаг небольшого архива, пишущая машинка «Рондевуд», на которой когда-то вскоре после войны техническая секретарша Надежда Михайловна Харлова перепечатала с черновика набело знаменитый в грядущем роман Галины Николаевой «Жатва».

Рожденный, он получил Сталинскую премию и победно прошумел в советской литературе, будучи сразу же объявлен классикой новой эпохи! Помню, что многое в тот день переносили мы на руках мимо садика с фонтаном и второго сквера, где памятник земскому старосте Кузьме Минину четко показывал правою рукою наш путь к солидным дверям Партпроса. По мраморной лестнице мы поднимались на второй этаж, где сворачивали направо. Там, после небольшой прихожей, где установили потом диван, подаренный нам АХО «партийцев», было две комнаты. У «стариков»-писателей от обилия площади для проживания кружилась голова! Вручную была перенесена одна из реликвий писательской организации — шахматный столик.

Тогда я не знал еще, что мы не просто въезжаем в новые комнаты, но это горьковские писатели входят в шестидесятые годы! Я не знал, что через пять лет, в 1965 году, меня примут в члены СП СССР! Почти сразу же я стану членом правления, заместителем ответственного секретаря! А потом еще — десять лет — членом Ревизионной комиссии при правлении Союза писателей России... Потом много что еще случится! Но мебель в тот день я таскал, уже имея решение на издание моей первой книги стихов.

Но об этом я расскажу отдельно.

А в тот день «птенцы гнезда Пильника» приобщались к чертогам писательской организации, которая казалась местом святым и почитаемым! Хотя общение с Пильником в его квартире на Ошарской улице уже ненавязчиво, по-доброму, приручило нас к миру местного писательского братства. Но ощущение дистанции разумно сдерживало нас от глупых шагов и высказываний. В «книжном колодце» — кабинете Пильника мы узнали, что до войны отделение Союза одно время обитало в уголке на первом этаже здания музея на улице Минина, затем расселилось на первом этаже клуба Свердлова, а затем отправилось в заоблачные, предчердачные высоты в Доме труда. И, наконец, обрело вполне «цивилизованные» компоненты в местах «партийного просвещения». Был там буфет с подлинными сосисками, а при желании — и с коньяком...

В 1960 г. в составе Горьковской писательской организации было пятнадцать членов СП СССР. Ныне, когда я пишу эти строки, в нашем благословенном городе уже их более 55 человек! За сорок лет нас осталось из тех, кого принимали в те далекие годы — только трое: Половинкин, Рыжаков и я...

Писательская организация рождалась из группы литераторов при молодежной губернской газете «Молодая рать».

Известна точная дата создания литгруппы — 12 марта 1925 г. На полосах литературных страниц появляются известные в будущем фамилии: Борис Рюриков, Михаил Шестериков, Константин Поздняев. У меня

в библиотеке хранится коллективный сборник — «Начало» — творческая заявка группы Нижегородской ассоциации пролетарских писателей — НАППа.

Уже в маленькой книжечке «Начала» можно увидеть стихи молодого Бориса Пильника:

Ветер, ветер! Бродяга милый,
Беспардонный и верный друг!

В 1928 г. с оглушительным успехом появилась в журнале «Октябрь» начальная вещь Николая Кочина — «Девки». Самая яркая, по мне, в нижегородской прозе XX века. Но в сборнике «Начало» ее еще нет…

Любопытно, что еще не шагнул 1-ый съезд, а в этом сборничке будет подзаголовок: «литературно-художественный сборник горьковского Союза советских писателей».

В «Начале» вершили бал свой поэты: будущий редактор «Литературной России» Константин Поздняев, представлял свои стихи Илья Симаненков, который станет одним из ведущих поэтов в Карелии; здесь же напечатает стихи свои об эскадронном запевале Николай Кузнецов-Ветлужский:

Ну-ка, спой про путь пройденный!
Тряхнувши чубом, он запел,
Как на Сиваш Семен Буденный
С отважной конницей летел.

Кузнецов-Ветлужский — отец известного горьковского телережиссера, моего друга Игоря Кузнецова, с которым мы написали в шестидесятые годы несколько киносценариев, а внучка поэта, который был репрессирован в тридцатые годы, — известная ныне телеведущая Елена Кузнецова.

Комсомольский вожак, Михаил Шестериков, пишет про романтического «товарища Семенова»…

Сборник «Начало» составлялся, в основном, Борисом Рюриковым. Думаю, что доверчиво-прямолинейное указание, как комсомолии обойтись с «литературным товаром», также принадлежит руке редактора-издателя. Вот этот рецепт, который привожу, как своеобразный документ в творчестве провинции двадцатых годов: «Этот сборничек можно просмотреть и отбросить в сторону. Но можно сделать и так, чтоб материал нашей книжки не лежал мертвым грузом. Мы предлагаем каждому нашему читателю, юнсекциям, комсомольским ячейкам — используйте вполне наш сборник. Рассказы, напечатанные в нем, читайте на вечерах в «красных уголках». У нас мало новых песен. А некоторые стихи, помещенные в сборнике, можно петь. Попробуйте, разучите стих «Товарищ Семенов» — его можно петь на мотив старой песни «Князь Курбский». И так далее, и так далее. Интересная инструкция к потреблению литературы?

НАПП — деловая организация. Но в 1932 г. ее наша партия и правительство прикрыли. Наступило время Союза советских писателей.

…Вообще-то, с Борисом Ефремовичем Пильником я познакомился в 1955 г. Мне было шестнадцать лет, я учился в восьмом классе. Моему будущему учителю исполнилось в ту пору пятьдесят два года. Он казался мне глубоким стариком. Потом, живя рядом с ним и бывая в студенческие годы у него по несколько раз в неделю, я тихо расстался с мыслью о нашей возрастной разнице. К нему оставалось, все усиливаясь, сыновнее отношение. Такое чувство к нашему Старику согревало многих. Вот что не могу вспомнить — чтобы кто-то хамил или грубил бы ему. Никто не рвался в ораторы или лидеры. И этой простотой мудрого интеллигентного человека одаривал нас сам Пильник. Он учил широко любить творчество; неплохо рисовал. Знаний Пильник имел на добрую дюжину кандидатов наук! Он стал художником книги своего товарища. Стихи А. Зарубина вышли в 1940 г. в Горьком с обложкою работы Бориса Пиль-

ника, с поразительно характерными для него «обводными» буквицами названия…

Наш Старик еще и прекрасно вырезал из дерева. Шедевр этих увлечений — его клюка с зубастым змеем и диковинное существо на письменном столе: оно опиралось на свой огромный нос, сидя на лапах, похожих на задние ноги зайца. А еще Старик наш любовно и профессионально переплетал. Он очень любил выбирать для обложки или переплета грубую или очень фактурную холстину. Собирал спичечные этикетки и наборы открыток, которые вечно громоздились на письменном столе рядом с новыми, только что купленными книгами…

…А сейчас вспоминается Лера Воронец. Худая, со взбитой копной рыжих волос. Человек несомненно очень одаренный! «Звезда тогдашних авангардистов». Странно, но она писала стихи от мужского имени:

Луг пахнет тепло и кисло.
Вздохнул — а назад не смог.
Рву белых ромашек кисти
Разжатыми пальцами ног!

Со мной у нее были доброжелательные отношения. Она выделяла мои стихи об Аввакуме: «Над тундряными, низкими буграми…». О ее очень талантливой, необычной для самого начала шестидесятых годов душе говорит то, что, в общем, очень осторожный Николай Алексеевич Барсуков, заведовавший отделом культуры в «Горьковской правде», опубликовал большую подборку ее стихов под заголовком «На трибуне — Воронец».

Но на новаторство всегда претендовала еще Маргарита Ногтева. Она была меня старше на один год. Была дочерью профессора-сельхозника. Проживала в соседнем доме, вместе с Гапоновыми, семейством знаменитых физиков. В нашем дворе почти не было девочек. Мы бесились: играли в футбол, играли в войну, угрожая стеклам соседей.

…Рита Ногтева сидела на полукруглых ступенях своего подъезда, над которым возвышался портик из двух колонн с козырьком. Под ним читался зеленый однотомник Гете. Рите было скучно, и она предложила создать тимуровский отряд… Отряд организовали, но тут же гайдаровскую идею убили, погромив сад в усадьбе знаменитого нижегородца А.А. Савельева, где еще жила его семидесятилетняя дочь…

Но вот соперница Маргариты Ногтевой Лера Воронец исчезла как-то внезапно. Говорили, что вышла замуж и отъехала в Москву. Не ведаю, но по «пильниковской академии» пошла гулять шуточка:

Мчится к Ногтевой гонец:
Воронцу пришел конец!
Шлем мы к Ногтевой гонца:
Больше нету Воронца…

…Постоянным посетителем пильниковского кружка был биолог Ильин. Некрасивый, с полноватым лицом, который украшали толстые и малоподвижные губы. Несколько лет он приносил варианты своего стихотворения «Письмо». Он лишь просил слова, а «старожилы» уже шептались: «Сейчас начнется. Я жду письма, его все нет и нет». И вновь и вновь проливались слова неудачливого и некрасивого парня:

Я жду письма, его все нет и нет.
Я каждый день смотрю в почтовый ящик.
А в коридоре — очень слабый свет.
И темнота свои глаза таращит.

Борис Ефремович делал долгий и глубокий вздох: «Так-с! Т-а-а-к-с!». И начинал, в который раз, водить своим карандашом по произведению Ильина. Это было бесконечное шлифование! Так что, из-за частого прослушивания, все строки его знали наизусть. В этом усердии Ильина было нечто и трогательное и удивительно жалкое…

...Вспомню второкурсника из пединститута Колю Рачкова. Ныне он — лауреат нескольких литературных премий, уже издавший у себя в Питере «Избранное», а в ту пору, арзамасский паренек, он, увидев из-за занавеса зал, где преобладали девицы, как-то очень наивно попросил меня: «Только скажи, пожалуйства... что мне еще нет... двадцати лет!».

Выйдя к рампе какой-то извилистой походкой, нервно и зычно грянул:

Сенокос — сто кос!
По лугу — враскос!
Встало солнце,
Сохнут росы,
Но поют, как осы, косы.
Сто кос —
двести рук,
Опоясан
луг
в круг.

...Вспомнилось, как мы с Цирульниковым записывали старинные песни в Кирилловке под Арзамасом — на родине у А. Карпова, на родине у собирателя XIX века. Сидели возле дома, напротив разрушенной церкви, вдруг возник из-под земли собственной персоной Коля Рачков:

— Привет, а это дом мамы! Я отсюда!

Не думаю, что это случалось по злому умыслу, но у раннего Рачкова вечно в стихах возникали «случайно забредшие» строки и образы из чужих, но больно уж полюбившихся стихов.

Первые его книги «Колодцы» и «У отчего порога» были свежими, влюбленными, но не очень глубокими! В начале восьмидесятых он отъехал под Ленинград, в Тосно, где возглавил «русский край» в тамошней поэзии. Коле никогда не были чужды эпиграммические мотивы нашего кружка.

Как-то после поездки на крайний север я читал свои стихи о полярных летчиках, которые собрались и выпивают в свободный от полетов день:

Как странно собираются мужчины,
Когда одни без жен и без подруг...

Потом, отчитав стихи, ушел на первый этаж Дома ученых, в буфет, где, заставив стол портвейном, морально развеселился в обществе прекрасного пола...

Рачков пришел в буфет. Мест не было. Он недолго посмотрел на меня, на мое окружение и назидательно изрек:

Вот так порой, без дела, без кручины,
В углу буфета обретя уют,
Настолько напиваются мужчины,
Что женщинам прохода не дают!

Строки имели шумный успех!

Кроме Рачкова в «пильниковском гнезде» были еще Ирина Морозова и Анатолий Гринес из пединститута. У Иры были стихи, напечатанные в журнале «Юность». По тем временам — великое признание! Кроме того, она, ученица выдающегося ученого того времени Л. Фарбера, написала статью в сборник о забытых писателях-нижегородцах — о поэте Леониде Граве, авторе романса «Ночь светла, над рекой тихо светит луна».

В недавнем «Биографическом словаре русских писателей 1800-1917 гг.» эту студенческую статью не забыли.

В «Юности» Морозова писала, как мальчик «предложил» ей дружить. Но вот однажды, на очередном вечере, Ирина Морозова вышла и начала новое стихотворение:

«О, женщины — ничтожество вам имя!
Ложится снег на серую траву!..

Вильям Шекспир! Прозвучали исповедальные строки:

Соседка говорит: «А мой-то, сволочь,
Дерется ни с того и ни с сего,
Но за одно, за ласковое слово
Я для него...»

Ответ «сильного пола» студентов-поэтов прозвучал вскоре в устах узбека Икрамова, в том же зале Дома ученых он резюмировал: «Все мы мужчины — сволочи!». Были аплодисменты. И даже бурные...

Работа «поэтической секции» городского студенческого клуба становилась популярной не только среди вузовской молодежи. На вечера, стараясь быть в стороне, приходили «университетские» преподаватели, как «физики», так и «лирики».

В Союзе писателей Пильник рассказывал: «У них прямо как у нас в двадцатые годы!».

Иногда я сам из-за сцены видел, как в проемы открытой двери возникала высокая и приметная фигура Нила Бирюкова. Он тихо улыбался, слушая речи о поэзии. Споры зарождали наши тайны. Уже заранее обговоренные, ими становились «провокаторы» — братья Ивашковские Виктор и Володимир, а, может, и наш сокурсник Евгений Филатов. Филатов ревниво кричал, ввергая в негодование женскую часть зала, критикуя красивого, молодого и очень удачливого Александра Познанского, которого любил весь наш город и который упорно и блистательно приручал публику к прочтению русской поэзии. Из зала гремел эпатажный возглас: «Познанский, вы салонный чтец!» Это было очень самоуверенно со стороны Филатова! Убить, конечно, не убили бы, но поцарапать могли.

Все приходившие на вечера знали: танцев не будет! Оркестрик играет лишь затем, чтобы не мешать гардеробу работать. В вестибюле, на втором этаже, возле опустевшего зала неторопливо перемещались еще две-три последние пары. У лестницы и у входных дверей доспоривали последние пары. Да какой-нибудь поэт, не выговорившись, дочитывал шалой стайке студентов свои неразделенные вдохновения.

Тяжело ступая на протез, шел Борис Ефремович Пильник, уже одевший на себя «свое темно-синее пальто». Опираясь на саморезную клюшку с змеиной головой, он шел к дверям... Открывалась дверь на улицу: «Такси подано»!

Комната на третьем этаже Дома ученых, где собиралась на свои обсуждения поэтическая секция, и квартиры на улице Генкиной, а потом и на площади Горького были как «сообщающиеся сосуды»: два-три десятка людей встречались на обеих площадках. Там бывали и встречались не только молодые поэты, студенты-филологи из Университета или Пединститута, но и постоянные учащиеся из Строительного и Медицинского институтов. Частым участником этих встреч и вечеров у Пильника бывал и постоянный член Правления Саша Литвак, общительный и остроумный, живо интересующийся всем, что касается новинок в нашей поэзии.

Ныне Александр Григорьевич — ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии, профессор, доктор наук, декан одного из факультетов в Университете... Перечислять его должности и научные заслуги можно было бы на множестве страниц! Тогда Саша, частый гость московских институтов и академгородка в Новосибирске, часто привозил первым в наш город новинки изданий. Так, первым оказалась у него книжка «Тарусских страниц», изданная в Калуге под редакцией К. Паустовского. В ней были широко представлены новые стихи Марины Цветаевой, обширные поэтические подборки Наума Коржавина, Владимира Корнилова, Давида Самойлова. Бориса Слуцкого, рассказы Юрия Казакова, первая прозаическая вещь Булата Окуджавы — «Будь здоров, школяр!» и другие незабвенные произведения той незабвенной

поры! Все мы писали в Калугу и «Книгу-почтой». Получали солидный том с прекрасной супер-обложкой работы М. Борисовой-Мусатовой.

На моем экземпляре — очень памятные многочисленные поправки Коржавина, его памятная надпись: «Юре Адрианову с чувством непосредственной симпатии. Н. Каржавин, 5/VIII-63 г. г. Горький». Он приезжал к своему другу Лазарю Шерешевскому, выступал в теленовостях у Саши Цирульникова, а потом мы с ним сидели весь вечер в сумерках у меня на улице Белинского.

Но вернемся к «питомцам пильниковского гнезда».

Саша Литвак, просвещая нас, привозил с собою из академгородка песни Городницкого, Визбора, Галича... Владимира Высоцкого еще не было слышно. Студенты пели новоприобретенного Булата Окуджаву.

...Наши родители, старшие в наших домах, были современниками эпохи «черных воронов».

Наша внезапная и, видимо, неожиданная раскованность воспринимались ими чем-то непостижимым, жутким. Помню, как во время одной нашей вечеринки у меня дома я вышел в кухню, где мама готовила какую-то нехитрую закуску — что-то вроде репчатого лука с подсолнечным маслом.

— Мама, там тебя художники величают Всероссийской матерью!

Она отдала мне закуску и заплакала:

— Мама, ты что, от лука что ли?..

Мама подняла глаза и мучительно сказала: «Я слушаю, какие вы песни поете! Вас всех посадят! Такие вы красивые, умные, все такие талантливые! Но вас всех посадят! Мне так жалко вас. Всех жалко!.. Всех...».

...Слава Богу, миновало!

А пели тогда будущие члены-корреспонденты Академии наук, будущие заслуженные артисты России, известные через годы литераторы.

...Слава Богу, миновало!

Все эти «сокрушители» на деле оказались истинными сынами России. Стали достойными людьми!

Мы — молодые поэты, как это было всегда, жили надеждами на издание своих сборников. Но нужна была поддержка Союза писателей. От личных желаний ничего не могло случиться. Вспоминаю, как мы со вздохом слушали далекие рассказы о том, как при «царе Горохе» можно было напечатать книжку стихов, предоставив деньги! Это вызывало у нас только насмешки. Потому сцена Дома ученых была как бы устным твоим изданием.

Наши вечера собирали молодежь. Мы, разучив стихи, знакомили всех собравшихся с хорошими, но забытыми поэтами. Затем решились и «себя показать». Я решился на это первым. Это случилось в начале декабря 1961 г. Мой «первопечатник» — Дмитрий Беляевский — опубликовал в «Горьковском рабочем» свою статью «Два часа стихов». Все это было новым и удивительным. Ни танцев, ни ансамблей, и вот вам — два часа стихов!

Я так волновался, что плохо запомнил порядок чтения. Но он был! Но, главное, что в тот давний вечер я прочитал те стихи, многие из которых, я поныне включил бы в свое «Избранное». Это и «Андрей Рублев», «Хохлома»; «Считайте годы по веснам...», «Ложкари»... Только сейчас вспомнилось, что многие из этих стихов я написал изустно, во время моих возвращений из Дома ученых. Я, проводив Пильника в машину, уходил по тихой и слабоосвещенной Ошаре. Она была плохо убрана, ее не любили владельцы машин. Улица — грязная, особенно весной и осенью. Но она располагала к пешим прогулкам. Поэтому она, на моем одиноком возвращении домой, располагала к сочинительству. Приходя к своему столу, я тут же порою садился и начинал писать новые строфы!

После вечеров были обсуждения. Здесь поначалу появлялся обязательно молодой преподаватель из Строительного института Аркадий Барахович. Он уже тогда блестяще импровизировал эпиграммы, создавал, сидя в зале, пародии.

Серьезные разговоры вел умница, студент пединститута Марк Габелев; молодой искусствовед, выпускник МГУ Слава Филиппов; всегда точный и вежливо-ироничный Лазарь Шерешевский и, особенно, живой, запальчивый и убедительный Толя Альтшулер, что учился у Леонида Фарбера на филфаке пединститута. Ныне его знает вся культурная Россия как Анатолия Смелянского, ректора школы-студии МХАТа, соратника Олега Ефремова и Олега Табакова.

Сколько с ним говорено в юности, какие неожиданные и точные оценки поэзии он давал. Он прекрасно читал стихи. Мы особенно просили его в компаниях почитать строки Евтушенко, Слуцкого, Вознесенского. Все понимали, что перед нами будущий ученый (как это же сразу решили в студенчестве о нашем университетском пушкинисте — будущем профессоре Всеволоде Грехневе).

Толя Альтшулер после института преподавал в школе в Гордеевке. Как-то попросил меня выступить у него в классе. После вечера мы с ним сидели, кажется, в кафе в доме-утюге на Московском вокзале. Он очень доверительно сказал мне, что ему предлагают стать завлитом в ТЮЗе. Как быть? Он, конечно, думал о научной работе.

— Убьют тебя из рогатки твои гордеевские школьники, — глупо сострил я. — Конечно, иди! Все же там театр!

Альтшулер-Смелянский пришел на должность, которая была по душе. Тогда уже режиссером, кажется, стал Наровцевич. ТЮЗ переживал свое великое возрождение.

Шли шестидесятые годы. Толя Альтшулер был восторженным поклонником Михаила Булгакова, которого Россия начинала только открывать. Булгаковским наследием занимался Константин Симонов.

Он возглавлял комиссию. Готовя кандидатскую диссертацию, Альтшулер обратился к нему и получил горячую поддержку. Оригинально мыслящий человек приглянулся в Москве и стал завлитом в МХАТе. Ведущим автором театральных изданий. Статьи уже подписывались А. Смелянским. Таким он вошел «как стопушечный корабль» в отечественное театроведение. Стал авторитетнейшим критиком в искусстве. Слушая о нем высокие мнения, я всегда радуюсь, потому что «пильниковское гнездо» привечало и любило его.

Недавно нашел в случайной папке газету «Горьковский университет» за 1 мая 1962 года. На первой полосе этого четырехлистового номера мой рисунок: весенние березы с красными флагами, просыпается природа... На четвертом листе — моя подборка стихов, вся забитая стихами... «Натка», «Считайте годы по веснам»... А вот и посвященное Борису Пильнику — «Провинциальные Гомеры»:

Провинциальные Гомеры!
Не согревала слава их:
Ты в школьных не найдешь примерах
Ни первый, ни последний стих.
История, как через сито
Не всех пускает в век иной.
И сколько скрытых и забытых,
И обойденных стороной.
Отдавших дни свои и ночи
Для беспокойных дел людских,
Поэзии чернорабочих,
Литературы рядовых.
Но не каких-то три фигуры,
А тысячи во тьме времен
Несут вперед литературу
Не оставляя в ней имен.
Пусть незаметны эти лепты,
Пусть в строках не звучит набат,

Но классики без них нелепы,
Как генералы без солдат!

Вспомнились стихи... Они написаны за двадцать два года до кончины Бориса Ефремовича. И опять, словно из какой-то ветхой дымки возникает комната, где сидит за столом Пильник со своим «суворовским хохолком». У него снова «пестрый народ»!

Талантливый и вечно пишущий «Мою поэму» Анатолий Вострилов, который на вечерах, объявляя себя, добавлял: «Вострилов. Вачский район».

А возле моего однокашника по филфаку — самоуверенный поэт Николай Могучее, или автозаводец Аркадий Кругляк, про которого Пильник всегда говорил: «Он — уникальный автор! Его статьи можно читать и с конца и с начала! Не пробовали? Попробуйте! Учитесь! Он мастер газетных строф!»

Пильник сидит, опять окруженный принесенными стихами, рассуждает: «Блоха», «блоха». Ну, да ладно... Ладно!..» — и глубокомысленно вздыхает.

Лазарь Шерешевский частенько приносит «свое открытие» — перлы из местных газет. Некоторые из них изумительны по глупости. Помню их поныне. Это образцы газетной лирики, что приносились из глубин редакций.

Пушкин — он вечен в черной стезе графомании.

Вот зачин «элегии» о его гибели:

В Черной речке солнце мочится...

А вот другое откровение на тему внезапной гибели на дуэли Пушкина:

О, как терпел от жандармеи
Свободный, гордый, наш певец:
Всю жизнь его кусали змеи,
И закусали наконец!

Или вот стихи о Владимире Ильиче Ленине, о его мавзолее:

Спи, Ильич, ты мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо светит месяц ясный
В мавзолей твою!

Лазарь бросал на ходу импровизации. Так, о Владимире Автономове, который начинал работать в леспромхозе инженером, прекрасно знал Ветлугу и Керженец, воспел эти места в своих добротных стихах, которые я очень любил за их бесхитростность и чистоту любви. Лазарь Шерешевский сказал необидно, но потрясающе точно: «Чем дальше в лес — тем больше строф!».

...Откос — это сбежавший простор волглого ветра, а в августе — с ним скованный, подсыхающий запах травы, первые золотистые пряди, появлявшиеся после холодных утренников в плотной завесе листвы... В вечерние часы последних дней лета на Нижегородском откосе — съезд юности нашего города. Ладные и приодетые по-праздничному девушки, парни, повзрослевшие — все выходят, все входят, безошибочно веря в счастливую неожиданность встреч.

Вот навстречу мне движутся «пильниковцы» — Толя Гринес, Ира Морозова.

— Где был? Чего написал? Читал ли стихи такого-то в «Огоньке» или в «Новом мире»? Был ли у Старика? Его возила Лидия Николаевна в Коктебель. Борис Ефремович так загорел! Старик обязательно угостит вас новыми стихами.

Посмотрите: вон возле музея Коля Рачков уже зачитывает каких-то девиц своими строфами! Пойдемте... выручим красавиц!

Шестидесятые годы. Родной Откос. У поэтической молодежи звенит

в памяти упругий голос Бориса Корнилова, в которого все тихо влюблены:

В Нижнем Новгороде с Откоса
Чайки падают на пески.
Все девчонки гуляют без спроса
И совсем пропадают с тоски!

Удивительно, почти «магнитофонная» память на прочитанные стихи.

Встречаю возле памятника Чкалову своего старого друга студента-биолога Васю Неручева, мы «движемся» с ним до конца «рамени». Сейчас в это трудно поверить — это два километра. Но живы еще соучастницы этих поэтических хождений. В одну сторону Вася читал мне «наизусть» Гумилева и Мандельштама. У здания спецбольницы мы разворачиваемся, идем на закатное небо, и я уже читаю ему свои пристрастия: строфы Баратынского и стихи Тютчева!..

...Жара спадает. Диск оранжевого солнца скатился за луга... Наплывает сиреневый мир августовских сумерек. На площадке, чуть ниже Георгиевского съезда, вспыхнула дуга огней над открытым поясом эстрады. К микрофону подошел человек. Его голоса не слышно. Но мы останавливаемся. Мы знаем, что это говорит, это предворяет выступление симфонического оркестра Марк Маркович Валентинов. Он долгие годы был режиссером Оперного театра, а еще он назван великим знатоком книги. Он живет в соседнем домике на Ошаре, который окружен садом. Я шапошно знаком с его дочерью — художницей Агнией, мимолетно бывал у него... Проснулась музыка. Она рождалась там, внизу, на половине горы. Кажется, словно волна набегает на травянистые склоны, но, отразившись от них, она снова откатывается, уплывает через плесы успокоенной Волги, дальше к широкому миру лугов. Вечерние концерты на Откосе к красоте: Волга, стихи и симфоническая музыка. Трояединство доброго познания мира!

Просыпает над мокрой булыжной мостовой свои листья осень. Заколышется надпись «Осторожно, листопад». И снова соберемся мы в «пильниковской академии». Поэтические вечера нижегородских авторов станут традицией Помню такие вечера нижегородских авторов самого Бориса Пильника, Александра Цирульникова, Лазаря Шерешевского... Время таких вечеров — 1961-63 гг. Храню простые и уютные билетики той поры! На моем билете стихи из «Поэмы о ритмах»:

Жизнь — это поэма,
Где мысли — острее бритвы,
Где часто меняются темы,
Где круто ломаются ритмы!

Вот так. Это была биографическая вещь! Где каждая главка писалась то частушечным размером, то ли чуть ли не гекзаметром! Все занято! Правда, у меня была еще поэма об Андрее Рублеве — «Спокойствие». Конечно, «Поэмой о ритмах» я привиделся всем тогда «боевым формалистом». Слава Богу, никогда не включал эти две поэмы в свои сборники.

Часто вечера в Доме ученых проходили в виде турнира, устанавливались места победителей и давались, благодаря Марине Кацнельсон, щедрые дары: у меня до сих пор стоят выигранные стихами собрания сочинений Гейне и Стендаля.

Секция поэтов дружила со студийцами при нашем Драмтеатре. Особенно активным был Костя Кулагин, ныне заслуженный артист России и режиссер ТЮЗа. Вместе со студентом ГПИ Марком Габелевым он поставил на сцене Дома ученых «Балаганчик» Александра Блока.

Да, в ту пору мы печатались нечасто, но чаще нас приглашали на выступления наши славные «радисты»: старейшина Вениамин Григорьевич Менхен и ещё молодые в ту пору Толя Бурдов и Вера Соколовская. Мы читали свои стихи на радио.

...Но вот по городу, в вузах, в школах, в научных институтах, в клубах мы появлялись часто: молодых поэтов все хотели видеть, читали в газетах, слушали по радио и, очень редко, видели на телевидении. Но каждый вечер — это бесконечные вопросы, где всегда вставали отношения к «кумирам» — Евтушенко, Вознесенскому, Рождественскому, Ахмадулиной. Проза интересовала меньше... Конечно, повести Гладилина, Аксенова, Казакова, Балтера было не знать — неприлично! Но поэзия шла к людям через театральные двери. Шло прямое общение со сцены, и город, смею думать, любил нас и знал не меньше артистов. На вечера молодых поэтов шли пожилые люди и радостно воспринимали. Мы очень быстро научились писать с «намеками». Это живо угадывалось!

Встречами с известными писателями в стране мы не были избалованы. Я знал, что как-то к Пильнику заезжал Павел Антокольский, который до войны был режиссером Горьковского областного театра (был такой для обслуживания села!). Арзамас и Сергач — вспоминаются в стихах Антокольского в связи с гастрольными поездками. Потом, кажется, Александр Ященко приводил к нему Виктора Шкловского... Но вот, однажды, в осеннюю пору приехала бригада «Литгазеты» в составе Леонида Лиходеева, популярного фельетониста, поэта Бориса Слуцкого, который только входил в славу, и мало известного заведующего отделом поэзии Булата Окуджавы.

Книгу стихов «Острова» имел из нас только Саша Цирульников. Он, как рассказывал, только купил ее утром того же дня. Книга имела тираж всего 2000 экземпляров. Но москвича хорошо знал Лазарь Шерешевский.

Булат Окуджава попросил найти ему гитару на вечер. Гитару взяли в прокатном пункте. В зале было народу человек пятьдесят. Так что призывы подписаться на газету были почти пустыми!

Что-то говорил Лиходеев. Потом Борис Слуцкий прочел почти хрестоматийные стихи, он же потом передал эстафету на вечере Окуджаве, сказав, что Окуджава не только сочиняет стихи, но и создает музыку, сочиняет песни. В ту пору было странно, даже дико видеть поэта, пишущего мелодию для своих стихов. Гитару приветствовали несколько сдержанно! А после вечера Шерешевский повел гостей к себе «на чердак». Он жил за Оперным театром, то ли на Дунаевой, то ли на Невзоровой, под самой крышей двухэтажного деревянного дома, где в чердачной части была выгорожена досками будка-комната. Я там бывал нередко: зимой холод бил изо всех щелей, а дым плыл из дырявой печки прямо в лица! Вот такая была поэзия. Конечно, потом, когда через год-два пленки с Окуджавой заполнили всю страну, мне стало жалко, что в тот день не пошел на «вечерку», куда меня упорно зазывала Геля, жена Шерешевского. Любопытно, что Окуджава, обещая вернуть «Острова», взял их у Цирульникова. Тираж у книги был смешным по тем временам. Через годы он прислал Саше через редактора телевидения Мирру Свердлову свою книгу «Путешествие дилетантов».

Мою первую любовь к поэтической гитаре не сломал шумный и уже изрядно надоевший Владимир Высоцкий. Окуджава умел говорить с душой доверительно, даже застенчиво!

У меня нет никакого права расставлять бардовские таланты. Но есть одно право, оно неоспоримое — право сердца!

В шестидесятые годы, на днях поэзии в ЦДЛ я познакомился почти со всеми знаменитыми литераторами от Александра Твардовского до Анастасии Цветаевой с ее маленькой комнатой вблизи Тверской. Но с Окуджавой был лишь раз рядом: это случилось на вечере в Политехническом музее.

Где-то в 1975 г. Союз писателей России стал превращаться в помойку перебранок. Не стало еще недавнего дружеского ЦДЛа, где было мирное дружество. А пленумы правления, где был я с 1970 г., превратились в говорильню ради личного утверждения, шлюзы стали открытыми

для прежде даже неведомых карьеристов в литературе. Последний раз я взобрался на сцену Дома ученых еще в стиле нашей пильниковской «секции поэзии» в сентябре 1964 г., когда после поездки по командировке ЦК ВЛКСМ группа горьковчан: художник Шихов, кинооператор Красиков и пианист, проректор консерватории Данилейко и я рассказывали о своей поездке на Кольский полуостров. Вот тогда, следуя лаврам Окуджавы, я под аккомпонемент Володи Дуркина пел свои песни о Севере, о плато Расвумчорр. Эти песни до сих пор, слышал поэт, поют то в Питере, то на Камчатке. Как-то до меня донеслась в ночной передаче песня о «Двадцать втором июня».

Начались новые времена, времена «Данко», времена «Воложки» Валентина Николаева. Там были люди, что пришли в горьковскую культуру после середины 1970-х годов.

Я не помню, когда в последний раз на сцену Дома ученых вышел ведущий и прочел стихи-заставку, которую мы когда-то отыскали в «Литгазете», в подборке Леонида Заливняка:

Снова стихами повеяло
От молодой травы,
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы.
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог.
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк...

Я вспоминаю их ныне, в ожидании 100-летия Бориса Ефремовича Пильника. Этот день придет к нам в августе.

Мы шли рядом с ним, мы — дети его мудрого учительства, которое не прекращается и поныне.

«Вертикаль». Выпуск 6, 2003 г.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРОСЕЛКИ

Каждый год, летом и в детстве и в юности, я жил в селах на Волге, на Керженце, на маленькой речонке Ункор у станции Зименки, ходил на шлюпках по Оке, Волге, Клязьме, Суре, с шестнадцати лет охотился в разных местах. Казалось, что быт деревни знаю не понаслышке: если сложить времена — получится не один год!

Но оказывается, что это «гастрольное общение» — я не замечал, вернее, не стремился все это понять из глубины. Познание началось со студенческих фольклорных экспедиций. В них мне было просто: я знал быт, «русскую печь» с ее не очень хитрым нравом, бани и дворы, соседство со скотиной — все было привычно, как неприхотливая пища. Но ежечасные беседы «по душам», ежедневная смена сел и деревень, разные глаза — усталые и светлые, испуганные и недоверчивые — все это пришлось на пору нашего «народознания» — «хождения в народ».

Фольклористов даже наши однокурсники (классики «по пристрастиям») не очень жаловали. Мы искали древности, как археологи, но во многом по сказочному рецепту: «Иди туда, не знаю куда! Ищи то — не знаю что!».

Может быть, поэтому «наш атаман» доцент Потявин перед тем, как выпустить нас «во чистое поле», в славном городе Муроме привел нас в архивы краеведческого музея, где, по надежным сведениям, были давние фольклорные записи еще XIX века. Записи были... Но нам с Сашей Цирульниковым музейная барышня принесла папки, сказав — это вот частушки первых лет советской власти. Мы листали их, находя много общих запевок с современными текстами, но вдруг пошло нечто, заставившее нас, детей 1958 года, заерзать:

Эх, яблочко сверху зелено:
Я куплю наган — убью Ленина!

Или:

Пароход идет — вода кольцами:
Будем рыбу кормить — комсомольцами.

Или вот такой «былинный запев»:

Ходит Троцкий по базару!

Частушки попадались среди каких-то и очень коммунистических отчетов собраний, победные резолюции которых завершались неизменным лозунгом: «Да здравствует мировая революция и ее вожди Ленин и Троцкий!». «Краткий курс истории ВКП(б)» мы уже тщательно и правомерно изучили. Было не по себе от такого «фольклора».

Мы призвали Василия Михайловича Потявина и шепотом рассказали о своих первых находках в фольклорных записях здешнего архива. Потявин был невозмутим, но, видимо, просчитав ситуацию с нашим приобщением к такому «гласу народному», весело сказал: «Это вам ерунда попалась. Это все кулацкое, вражеское! В Муроме был мятеж контрреволюционный, как в Ярославле — так от тех дней осталось!». А ныне думаю: вот вам и запретный плод. Раз прочитал, а всю жизнь до пенсии не забываю. Видимо, для души человеческой такое запретное памятно и дорого, как грешная запретная любовь.

Фольклорные экспедиции были и нашим первым с Цирульниковым приобщением к киноискусству. В университете создали кинолабораторию, во главе которой стоял биолог Лаврентьев. Впоследствии его хорошо знали в городе, как книжника, собирателя редких икон, постоянного собрата по рыбалке нижегородского митрополита Николая. И тогда Потявин, любивший всякие новинки, задумал документальный фильм о фольклоре (и он оказался действительно первый в России) — «Волга поет!».

В Горьком завод имени Петровского начал выпуск первых репортерских магнитофонов «Романтик». Это было действительно пижонское чудо тех лет весом килограммов шесть-семь, которое носили на плече. У филфака денег, естественно, не было. Но Потявин пошел в научно-исследовательский институт химии, к лауреату Ленинской премии и академику Разуваеву. У него в институте деньги водились и, таким образом, для фольклористов «нахимичили» четыре магнитофона.

Когда в поволжской деревне, где-нибудь под Саратовым, начиналась запись, то народ бежал к нам и мешал. Он не ведал, что в аппарате простые батарейки для фонаря. Потявин, чтобы остановить «доступ к телу», говорил: «Видите, нет проводов! Магнитофоны работают на атомной энергии. Кто подойдет на три шага — на пять лет выходит из строя».

Как «васюковские любители шахмат», к нам приходили на съемки «Волга поет» местные книгочеи: «Это не о вас писала на днях «Советская Россия»? Потявин брезгливо морщил губы и говорил: «О нас везде пишут постоянно». В дело включалось руководство сельхозартелей. Народ требовал угостить именитых гостей. И четко зная преимущество народного строя, все кричали: «За счет колхозу! За счет колхозу!». Начинались пляски. Камера трещала впустую. Шеф, все понимая, велел беречь пленку. Раскрасневшиеся бабенки выскакивали из круга и, вытирая лоб, словно ища сочувствия, вздыхали: «Юбки мешают кружиться». Доцент филфака советовал: «А вы их сбросьте».

Сидя со студентами за вечерним застольем, он радостно говорил:

— Какой у нас замечательный народ — фольклористы. Молодой, непьющий.

— Ну как же непьющий, вот она, — показывали на бутылку под белой головкой.

Потявин, улыбаясь, вещал: «Ну, это же пустое дело — поллитра на двоих!»

Магнитофоны были причиной ряда «задержаний». Помню, как уже в поле колхозники схватили милую маленькую Сашеньку Бычкову. Думали, уже после записи, что к ним пожаловали шпионы. Время было бдительное до безмерности. Биологи рассказывали, как в их экспедиции поймали Света Приклонского, что потом был директором знаменитого Окско-террасского заповедника, потомка древней дворянской семьи, дальних родственников Пушкина и знаменитых осадных воевод эпохи Смутного времени. Так вот, у Света Приклонского, студента-биолога, раймилиция обнаружила ружье бельгийской марки, бинокль «цейсовский», фотоаппарат тоже «не наш».

Ну, а мы шли по проселкам, пели с девчонками на ходу новые песни Блантера и Мокроусова, собирали и записывали на «шпионские машинки» древние думы наших предков. Доцент Потявин давал «план», он не признавал полупустых тетрадей. Я нашел «жилу», стал расспрашивать маленьких девчушек. Вот кто знал «море» частушек. В васильсурскую экспедицию вызвался идти любимец курса, весельчак Турасов. Потявин спросил его: «Валя, как вы относитесь к сбору народного творчества?» — «Как матрос к революции, Василий Михайлович!» — бодро ответил бывший суворовец. Он дружил с обладателем звонкого тенора Володей Алексеевым. Уже в четвертом классе парохода, что вез нас в Василь, новобранцы-фолклористы горячо общались с народом. Увидя группу серьезных «очкариков», что, как донесла разведка, ехали в дом отдыха, Турасов, вынув из вещмешка летние белые брюки, вопрошал: «Вы не аспиранты? Среди вас нет аспирантов? Сейчас самое время аспирантам ходить в белых брюках. Купите, недорого!». Садясь возле старушек, задумчиво размышлял: «Вот скамейки деревянные, а у нас на эсминце — все железное, все, все...». В глубине района они стали ходить на пару. О них доходили изустные рассказы. Они заходили в дом к какой-нибудь бабушке. Тогда домов никто на Руси не запирал, а если вешали открытый замок, так лишь для того, чтобы в горницу не забрались куры или коза. Наши друзья истово молились на иконы и говорили старушке: «Матушка, мы честные русские офицеры! Идем из австрийского плена. Не откажи, покорми странников». Шумно ругали молодежь, безверие и пили парное молоко, хрустели огурцами... Они вдвоем, согнав девчонок в микрохор, давали концерты, платные. Правда, с тех, кто сопротивлялся, денег не брали.

Однажды в одной из деревень мы увидели приличную бричку с ладною лошадкой. Стараясь не замечать однокурсников, они вопрошали древних поселян: «Матушка, а как нам в Детройт проехать?

— Куда?

— В Детройт!

— Ах, так это прямо, прямо. Вот по столбовой дороге и езжайте».

Впрочем, и мы не чуждались, когда давали телегу. Помню, кажется, в Шереметьеве под Василем, нам дали такой транспорт с условием, что мы его сдадим в соседнем селе, в отделении колхоза. Фотодокумент сохранил нашу компанию: я и девчата сидим на телеге, спустив ноги, а ямщиком сидит с вожжами Саша Цирульников, на голове у него белая шляпа, которыми мы разжились с ним весной в г. Киеве, где выступали на студенческой конференции. Жизнь была веселой, интересной и поучительной.

Я не преодолел свою некую некоммуникабельность, а Цирульников, ныне известный российский тележурналист, репортер, уже тогда отличался среди нас открытостью и свободной общительностью в любой среде. Разговорить сельских стариков-молчунов — это для будущего журналиста словно высшие курсы.

После Василя мы двинулись через Ульяновскую область. Помню, как будущих литераторов, нас завораживала топонимика здешних се-

лений: Языково, Карамзинка, Анненково, Аксаково... В селах еще жили клубы — разгромленные барские особняки. Заросшие парки, засохшие ямины — память от бывших прудов. Иногда в сельских избах, в нехитром и самодельном шкафчике для посуды, рядом с чашками, гранеными стаканами, вспыхивал фужер красного стекла, расписная тарелка. ..

— Откуда?

Спутанно объясняли, что это, наверно, тятя принес оттуда, и показывали в сторону усадьбы. Грабили награбленное. Гражданская война оставляла еще памятный, живой след.

— А у нас в селе Железная дивизия доукомплектовывалась, — важно сообщали в правлении колхоза.

Проселки вели и вели нас вдоль Волги, по скользкому шару глобуса на юг земли русской!

Через Казань-Ульяновск-Саратов, через станцию Эльтон, где под ногами соль, а в руках сладчайшие арбузы. Потом были пристани Астрахани, засыпанные рыбьей чешуей. А за ними удивительное путешествие по протокам волжской дельты, по ильменям к селу Тишкову, основанному в XIX веке арзамассцами.

Мы плыли на моторной «лодье», похожей на ветлужские завозни, сквозь густые тростниковые плавни, мимо склоненных деревьев, и нежданно впереди нас поднимался то серый гусь, то били крылами по воде стаи лысух. Это был природный рай после сдержанности и почти скудости природы средней Волги. Спустя день, за окраиной Тишкова, нам откроется полупустыня — выжженная мертвая земля, земля, что оживает лишь при усердном орошении.

На земле стоял год 1960-й. В то лето мы постигали Россию изнутри! Мы проходили сквозь природные зоны: таежное Заветлужье, голубой Светлояр. Потом Васильсурск — голубой камешек в ожерелье России! Симбирские лесостепи. Саратовские степи, суховатые увалы. Наконец, астраханский край — изумрудная ладонь дельты вся в живых жилках проток и окрест — сушь великая. А за спиной сотни километров дорог, сотни встреч. И, как сказал поэт, «деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась». На земле стоял год 1960-й. И в селах были обычными старики в восемьдесят лет, которые помнили сопки Маньчжурии и японскую войну. Участникам первой мировой было по семьдесят лет. А тем, кто брал Берлин и освобождал Европу, — около сорока. А чаще — еще моложе.

Мы входили, познавая Россию, в свои шестидесятые годы. Поколение, сохраненное в годы войны трудами матерей, поколение надежд тех, кто лег на фронте.

Я перешел на патетический стиль. А в памяти веселые незабвенные старики. В одной из деревень Ульяновской области жители нас сразу оповестили: «У нас поэт живет. Все время говорит стихами». Мы с ним повстречались, и точно: он бесхитростно лепил строчки. На днях, говаривали, на рога своему бычку надел плакат:

Переход, быка не трогай.
Бык идет своей дорогой
По деревне, за мосток,
Прямо, прямо на восток...

И так далее. Бычок самостоятельно, вооруженный поэтическим словом, двигался к луговине, где дали выпас. Рассказывали, что еще до войны «поэта» нагнал за околицей какой-то районный чин, что разъезжал на бричке.

— Привет, «поэт»! Все пишешь?

— Пишу.

— А вот слабо тебе сходу про меня сделать стих!

— Напишу. Слушай:

На лошадке едет карей,
Двоеглазый, с толстой харей!

Была перебранка... В войну «поэт» пострадал, написав про союзников-американцев и яичный порошок. Из района приехали чекисты. В кузов грузовика накидали какие-то творческие архивы, а поверх их «поэта» посадили. Срок ему дали небольшой, уж больно заметен был перекос.

Старики, старики, старики... Книгочеи, искатели премудростей. Один, помню, жаловался на глаза — слабеют! И ругался про себя, найдя причину бед:

— Я, дурень, лежу на печке всю ночь и смотрю на лампочку. А ведь нельзя: там же атомы и эти, как их, рентгены!

Дед, ты почти прожил век, а что самое памятное в жизни?

Старик молчит, потом отвечает: «Это, сынок, когда я белорыбицу на Волге на четыре пуда поймал!»

Ах, старик, нет уж белорыбиц. Забыли!

Помню еще одну историю. Мы зашли случайно в село на Саратовщине, где родился известный писатель Федор Панферов.

Но, услыхав о «классике», тамошние деды зашумели:

— Федька — писатель? Мы его не читали и читать не будем!

Вот такие дела!..

...Прошли годы пятидесятые, шестидесятые...

Старинные песни затихли. Ныне в каждом районе свои барды. А это, чаще всего, и стишки неважные, но непременно с попытками философствовать, мелодии исчезли, остались крутые гитарные перезвоны. Кто знает, может где-то в глубинке и есть еще реликтовые древа истинного искусства. Эти осколки и голос их напоминает мне журчание лесной речки, какой-нибудь Ватомы, что спешит из хвойного лога, перебирает струями зеленые кудри водорослей. Глядит в нее с сухого кустика диковинная пичуга зимородок. И у малой Ватомы — вечный путь из лесных раменей, в открытый простор великовражских лугов, через молчание озер-колодобцев, к матушке Волге. У нее-то в памяти и песни, и легенды, и души живых и мертвых.

«Вертикаль». Выпуск 8, 2004 г.

ВСТУПЛЕНИЕ В ХРАМ НАУКИ

Моя мечта была связать жизнь с изобразительным искусством. Мерещился в северных туманах институт имени И.Е. Репина в Ленинграде. Но я четко понимал, что по рисунку я не смогу попасть сразу, идти через художественное училище — путь долгий. В последние школьные годы каждая вторая книга, которую я читал, — это монографии по истории живописи. Я для себя решил идти на факультет теории живописи. Кстати, так сделала моя одноклассница по вечерней художественной школе, ныне известная в России специалист по народным промыслам, кандидат искусствоведения Татьяна Емельянова, серьезная светловолосая девочка, которая вместе со мной «преодолевала» акварельные отмывки гипсовых истуканов.

Но я и не бросал писание стихов. Зимой, в начале 1957 г., мой одноклассник Валерий Некраш, с которым мы сидели на первой парте перед учительским столом, отнес мои стихи в «Ленинскую смену». Светлой памяти Дмитрий Беляевский вызвал меня в редакцию. Отобрал из кучи произведений наиболее удобоваримые, и началось! Потом, 23 февраля, были напечатаны стихи «Старый окоп» (по какому-то «высшему случаю» вместе со стихами Саши Цирульникова), потом «Заволжье», «Последний парад» и т.д... Изрядно боясь далекого академического Ленинграда, я вдруг решил идти на историко-филологический факультет университета. Мама и «папина бабушка» это стремление поддержали.

Для моих одноклассников в школе № 8 и учителей сие было странным. Выпускники восьмой школы шли в радиофизику и математику, почти стопроцентно прорывали приемные экзамены в Политех и др. технические вузы.

Свое первое значительное «произведение» в прозе — школьное сочинение «Любимые герои по роману Фадеева «Молодая гвардия» я написал кратко, выбрав «любимым героем» секретаря подпольного обкома партии Проценко. Помню, как во время этого писания надо мной склонился Николай Николаевич Хрулев, торопливо взял у меня из рук ручку и поставил запятую, выделяя слово «наконец». Милый, добрый наш старик: ведь это шаг был для него почти нравственным подвигом! Но он, как выяснилось, исправил единственную ошибку. Других не было. И все же было решено, что я неважный прозаик.

— Вы хулиган! — тихо наговаривала мне учительница-литераторша, — на филфак вы не попадете!

«Хулиганом» я был потому, что не взял в герои традиционных: Любу Шевцову, Олега Кошевого или Ульяну Громову.

Ныне думаю над своим поступком: а эта неожиданность решения и была признаком писательства.

Потом было жаркое лето пятьдесят седьмого. Первый экзамен — сочинение, абитуриенты нескольких факультетов писали в старом здании (где ныне филфак ННГУ), в актовом зале. Ничего еще не было известно. Смятенный, напуганный, я еще не знал, что это знаменитый «старый актовый зал», воспетый в песне моего будущего друга и соавтора Анатолия Бурдова, что здесь под аплодисменты буду не раз читать стихи на студенческих вечерах, что здесь буду влюбляться «и в шутку и всерьез», высматривая девичьи фигурки, приглашать на танцы.

В тот день я писал сочинение «Женские образы по войне и миру». 1812 г. был с детских лет моим коньком, все знал в деталях и, наверное, в тот день сочинения я стремился показать «свою образованность». Ведь при полном отсутствии грамматических и прочих ошибок будущему писателю жестокая рука начертала приговор: «Полное неумение излагать свои мысли!». Вот так-то!

А писал это, я тогда же узнал, мой будущий пестун — Александр Алексеевич Еремин. Спустя десять лет, он мне, уже члену Союза писателей СССР, даст дорогу в прозу. Именно он больше всех других «стариков» восторгался первой прозой поэта. В семидесятые, когда Еремин был секретарем Горьковского отделения СП, мы с ним выступали в Воскресенском на Ветлуге. Перед концертом бродили по поселку, и я ему напомнил его «инквизиторский приговор» будущему писателю.

Александр Алексеевич заметался:

— Не может быть, Юра! Вы что-то путаете!

— Да нет, не путаю. Ваша была резолюция, мне ее противозаконно на устном экзамене показали преподаватели Москвичева и Бруева. Да ведь я же не со зла это вспоминаю!

— Да, Юра, вот ведь бывает и на старуху проруха!

Конкурс был в тот год — десять человек на место. Проходной бал — 17. Это для мальчишек, как мы уже слыхали. Девиц брали с восемнадцатью. Парни были редки. Набрали на три отделения с дюжину персонажей. Я представляю, какое изумление было в приемной комиссии, когда появился «безэкзаменник» Саша Цирульников со своей золотой медалью! На устном экзамене я был в ударе. Все отлетало от зубов. Умиленные Бруева и Москвичева попросили прочесть свои стихи. Я прочитал. Им, как потом узнал, надо было убедиться в моих «теоретических познаниях», чтобы можно было законно поставить четыре за сочинение, ведь меня уличали при отсутствии ошибок в недомыслии.

Что вы можете вспомнить из «Войны и мира»? Какой-то эпизод Бородинского сражения? — К той поре я роман Толстого читал неоднажды, читал только «войну». Мир и любовь не привлекали меня. Услыхав во-

прос, я возликовал: ведь кое-что я знал наизусть, читал на вечерах. Зажмурился, вдохнул побольше воздуха и начал: «Генералы Наполеона — Даву, Ней и Мюрат, находившиеся вблизи области огня и неоднократно въезжавшие в нее...». Это был известный эпизод о мальчике-адъютанте Мюрата, который просил подкрепления, хотя бы одну дивизию. Наполеон отказал его просьбе. «И мальчик-адъютант, не отрывая руки от шляпы, тяжело вздохнув, опять поскакал туда, где убивали людей...»

На немецком я получил достойную тройку. Помню, что вместе со мной, взяв словари, какие-то парни готовились с полчаса. Потом шумно ушли: оказывается, что они в школе учили английский. И сидели, долго выясняя, что же им подсунули. Были такие герои!

На последнем экзамене по истории мне достался билет, где был первым вопрос 1943 г. Великой Отечественной войны, второй (вот счастье) что-то про 1812 г. Принимал экзамен историк, занимавшийся современной зарубежной историей. Я спросил, можно вкратце обрисовать общую картину войны в Европе? Экзаменатор оживился! Я начал рассказывать об операции «Факел», высадке американских войск в Северной Африке, о крахе группировки Роммеля в Тунисе. Об этом мало писали, говорили разве что в научных статьях. Когда я «выложился» и стал говорить про Курскую дугу, мне педагог сказал — давайте второй вопрос. Пятерка стояла. Я имел нужные семнадцать баллов! Гендаль, провожая меня, сказал: «Вы ошибаетесь, что идете на филолога! Вы же — историк!».

— Ну, я, понимаете, пишу стихи...

— А что, будучи историком, вам мешает их писать? — резонно продолжил Гендаль.

Дальше было все, как в тумане. Читать списки ходила мама. Она вернулась, обняв: «Студент ты мой!» Всплакнула. У меня было еще несколько дней для отдыха. Попросил у мамы денег. И, набив едой рюкзак, взяв ружье в чехле, я отправился на дебаркадер. Сел на васильсурский теплоход и ввечеру подплывал к Татинцу. На смотровом бугорке, что называли «рынок», сидели знакомые фигуры друзей-дачников из Москвы. Я увидел их еще с парохода. Перебросили на пристань мостки. Подтянув ремни рюкзака, повесив по-пижонски на шею ружье, я двинулся на берег. Доски сходень пружинили. С горки меня увидали и вскочили. В ответ я поднял обе руки. Общество все зашумело, поняв мое настроение. Я стал сразу и взрослее и уверенней! Но не помню, куда мы ездили в те дни большой компанией, кажется, в Юркинский залив.

По возвращении в Горький я пошел в университет, куда был вызов. Выяснилось, что желающие могут работать на новом здании университета на Арзамасском шоссе (если найдут оправдание), а все другие — уедут на целину, на Алтай.

Конечно, я рванулся в целинный эшелон!

* * *

Какое было настроение, какое это было яркое зрелище. Уходил эшелон на целину. Теплушки. Кто-то из циников скажет — «телячьи вагоны». Но для нормальных людей и тогда и поныне — это транспорт героев. Это война, это возвращение победителей из Европы, это стройки Сибири. Только двенадцать лет, как отгремели пушки на улицах Берлина, на сопках Маньчжурии и «на Тихом океане свой закончили поход». Матерям было все знакомо — и эти нехитрые вагоны, и политый женскими слезами Московский вокзал нашего города. Перекресток прощаний и встреч. Мама, провожая меня, наверное, вспомнила зиму сорок второго, когда мерцал «огонек последнего вагона — года сорок первого звезда». Ватники, кирзовые сапоги, плащи, и даже уцелевшие плащ-палатки на плечах. Хриплые трубы оркестра. Песни, что возле каждого вагона свои. Девичьи лица. Пестрота платков.

— По вагонам!!!

Поезд начинает медленные десятки метров по Канавинской окраине. Быстрее, быстрее и вырывается на Волжский мост! За рекой родной Откос, отчий город. Вот и борские луга, где еще недавно, весной, мы в пору предполоводья бродили с двоюродным братом Андреем и, озорно стреляя в чибисов, пели: «Мы твоих, твоих, не тронем чибисят». Потом пошла синь семеновских лесов. Одинокие избенки над безымянными речками, серые жерди изгородей.

На восток! На восток! На восток — мне, кажется, выстукивают колеса. Мы с одноклассниками Аркашей Юшиным и Борисом Кавериным помещаемся на одной полке. С нами еще пять человек. И Борис, и Аркадий были со мной в шлюпочных походах по Оке, Волге и Суре. Так что это народ, проверенный многократно. (Ныне А. Юшин — доктор химических наук. Б. Каверин — кандидат или доктор технических наук, турист, изъездивший весь Союз, дельтапланерист и мастер многих-многих дел, а недавно, на седьмом десятке, он мне читал стихи. Он и здесь человек талантливый. Диво!)

* * *

В эти первые минуты в теплушке произошла встреча, которая во многом определила мою жизнь, строй человеческих отношений, высокую цену истинной мужской дружбы. На годы, на жизнь, до сего дня... Ко мне подошел черноглазый парень в ватнике и кирзовых сапогах.

— Ты — Адрианов, пишешь стихи? А моя фамилия — Цирульников. Нас печатали вместе в «Ленинской смене»!

Я смотрел на Сашу и вспомнил, где я его видел впервые: это было во Дворце им. Ленина. На каком-то смотре. Я был в зале, и был поражен авторским чтением Цирульникова. Это были крепкие стихи. Стихи сюжетные. Читал он превосходно. Зал клокотал. Сашин рюкзак, оказывается, лежал на нашей полке. Вместе едем!

Мы входили в Россию: Предуралье, Урал, в Западной Сибири открыли степи, сначала в березовых перелесках, затем уже сухие, с солончаками и синью больших озер, на которых дневали бесчисленные утиные стаи.

Наша теплушка сотрясалась от молодых голосов. Пели песни гражданской войны и войны Отечественной, лирические раздумья. Студент, кажется, 3 курса Марьямов с хорошим голосом возле открытой двери пел оперные романсы. Нам с Сашей он, отпев Мефистофеля, склонившись, говорил: «На пару пишете стихи! Думаете, будете поэтами? Нет! Вы будете сельскими учителями!». Судьба не послушала Мефистофеля, который вскоре придумал себе более звучную фамилию — Побережский. Не ведаю, где он ныне...

Историки и филологи на алтайской станции Гилевка были отправлены в местный совхоз для прохождения службы. Три недели работы — слишком малый разбег для разговоров о целине. Но мы и здесь в ночные смены работали с Сашей на одном транспортере. «Вагон на шестьдесят тонн зерна — это наша норма». Вручную, плицами мы загружали его. Самое трудное было влезать в окошечко и разравнивать зерно.

— Грузи полней, не себе ведь грузишь! Зерно шло в Европу, но, спасибо бригадиру — он говорил: «Ребята, вы так окочуритесь! Так не работают! Обязательно должны быть перекуры!» Мы, юнцы, постигали культуру труда. На перекурах ложились в груды теплого зерна. Горели костры возле наших вагончиков, там бродили тени и слышались песни. Степь меня пугала: черное небо, темная земля и никаких ориентиров. Вспоминали стихи Исаковского:

Выйдешь в поле, а в поле ни сукина сына,
Хочешь пой, хочешь вой, хочешь бей головой в ворота!

Возле нас появился еще один поэт-первокурсник — Валя Герасимов. Он возле костра читал новые стихи:

Тихий звездный вечер
Над целинным трактом.
Далеко-далече
Промурлыкал трактор.
Звезды пахнут мятой
И полынью жгучей.
На рогах-ухватах
Держит месяц тучи.

Долго и запальчиво спорили про «мурлыканье» трактора и о рогах-ухватах. Валентин был непреклонен. Он был старше нас, он прошел армию и, как теперь говорят, «горячую точку». В 1953 г. чуть было не началась третья мировая... Тогда на границе западного Берлина стояли лицом к лицу, развернув орудийные башни, советские и американские танки. Валя говорил: «А вокруг эти бывшие фашисты залезали на танки, чиркали зажигалками у баков с горючим». Наш командир машины был фронтовик, лет тридцать ему. Он сказал: «Валя, подай мне гранату!». Я достал «Ф-1». Он ее наладил, вздохнул и, приоткрыв верхний люк, бросил на улицу. Орать сразу же перестали... Да, разный интересный люд собрался у целинных костров. У меня случилась беда: меня придавило транспортером, который вкатывали в сарай. Прижало к двери и выкинуло в зерно. Из горла шла кровь. Я отсиделся и снова пошел в работу. Спустя годы, на рентгене, меня спросили: вы ломали ребра? Нет? Ломали, ломали! Вот у грудной клетки!

Обратно мы ехали победителями. За все труды получили по 250 рублей (чуть больше месячной стипендии первокурсника, в деньгах 1961-1991 гг. — 25 рублей). Но для нас это были огромные деньги. В городе Кунгуре мы с Сашей Цирульниковым, долго прицениваясь, выбрали подарки для своих мам — вырезанных из кунгурского камня лебедей. Помню, как в Верещагино, покупая в киоске колбасу, я не заметил ухода поезда, бежал за ним и умудрился прицепиться к последней площадке последнего вагона. Это было раз в жизни и, наверное, оттого помню.

В 1988 г. я провожал в Новгороде Великом с празднования 1000-летия крещения Руси известного писателя, тогда редактора «Нового мира» Сергея Залыгина. Мы стояли на перроне, а классик, глядя на проходивший состав, спросил:

— Юрий, вы не ездили на крышах поездов?

Я с холодной дрожью сказал: «Нет, никогда!»

А Сергей Павлович, внутренне улыбаясь, счастливо молвил: «А я в юности пол России проехал!»

...Возвращались мы обратно, как «белые люди» — в плацкартных вагонах. Мы с Сашей ехали вместе с нашим преподавателем Черновым, у которого потом постигали логику и психологию. Слушали его размышления, читали свои стихи-скороспелки. Мы думали: какой он простой, открытый, а это была первая встреча с педагогом истфила, добрая доверительность, которая не ставила проблем в общении. Старшие наши однокурсники, конечно, выпивали. Когда наш поезд был на подступах к Горькому и Волге, Чернов поднял крышку постели, чтобы достать чемодан. Весь ящик был забит пустыми бутылками! Чернов, немного обидевшись, но со смехом говорил: «Ну, друзья! Как это вы умудрились скрытно пронести. Ну, что про меня подумают? Это же немыслимо!».

Вот за лугами появились силуэты домов на Откосе, прогрохотал волжский мост. На перроне гремел оркестр. Увидел лицо мамы. Первое самостоятельное возвращение. Боже, сколько их впереди!

Горьковский целинный эшелон вернулся без потерь! А потери бывали. Вскоре в Оперном театре был бал целинников. Где мы впервые увидали наших девчонок не в ватниках! Некоторые счастливчики, из тех, у кого проезжало по совхозам начальство, щеголяли с медалями «За освоение целинных и залежных земель!» с такой приметной зеленою колодкой. Как-

то в один из первых дней занятий мы с Сашей Цирульниковым подходили к зданию факультета в Университетском переулке. Вдруг из двери выскочил высокий парень, куда-то спешащий. Он обрадованно увидел Сашу, и они о чем-то быстро поболтали. Парень помчался к Свердловке.

— Это Валерий Шамшурин, со второго курса. Поэт!

Так мы сходились, не зная, что это товарищество на всю жизнь. Начиналась долгая дорога.

Этот старый дом в переулке — действительно храм для нас. Школа. Память. И юность, и вся жизнь.

«Вертикаль. XXI век», Выпуск 11, 2004 г.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Наш Университетский или Мышкин переулок...

Наш двухэтажный факультетский дом.

Сколько песен, сколько слов о нем сказано, сколько судеб здесь разрешилось когда-то!..

Моста через овраг еще не было. Был тупичок, что шел в тридцати метрах от входа в здание факультета.

У входных дверей в самом здании нас встречала сразу же вешалка, далее путь лежал по лестнице на второй этаж. Было невероятно тесно, но очень уютно, по-домашнему хорошо.

На первом же этаже, справа от вешалки находился деканат, где в наши юные годы царствовал Георгий Васильевич Краснов. Помню, как собрав редкую «мужскую» партию факультета, он «проскрипел» своим голоском:

— Есть мужская солидарность. В университете проводится соревнование по легкой атлетике. Важно участие: так что все, кто может ходить — призываются защищать славу родного факультета. Нужны зачеты? Тогда все на стадион «Динамо»!

Мы вышли все!.. У нас не оказалось пустых мест. Я бежал и сто метров и полторы тысячи. Сашка Цирульников прыгал в высоту и взял полтора метра! А у других факультетов были нули.

Через месяц учебы мы уже знали всех преподавателей: и филологов и «не наших» историков. Главным лицом был, конечно, старый историк, член-корреспондент Академии наук Сергей Иванович Архангельский. Он нам, филологам, не преподавал, но мы понимали, что это по своему званию — первое лицо на факультете. И мы очень учтиво с ним здоровались, когда сталкивались где-нибудь в стенах университета. Почему-то запомнился зимний 1957 г. Я стоял у входа и читал объявления на правой стороне вестибюля и вдруг вздрогнул, увидев, что рядышком возле меня стоит перед стендом Сергей Иванович. А я от своей бабушки, Надежды Николаевны, уже знал, что Архангельский читал лекции в нашем университете вместе с моим дедом, который, как недавно выяснилось, был первым председателем ученого Совета ещё в 1916 г. Я поглядывал робко на старого педагога, и во мне возникло желание с ним заговорить, но, испугавшись своих намерений, я вышел вслед за ним на улицу и тут же растворился в толпе.

Через год осенним днем мы хоронили ученого. И от факультета по Свердловке и дальше по Арзамасскому шоссе до поворота от тюрьмы к старому городскому кладбищу несли его гроб на руках.

Из филологов в наше время самым старшим был Алексей Василькович Миртов. Его филфаковскую «одиссею» подробно в своих воспоминаниях описал Александр Цирульников. Я же вспоминаю, как сдавал ему зачеты по русскому. На столе стояло пиво, он отпивал его, лежали конфеты, которыми награждались девицы, обнаружившие достаточные знания. «Мишки» быстро расходились. Но тут появилась мастер спорта

Нелли Маштакова. Миртов, это узнав, безжалостно гонял спортсменку до слез и отчаянья…

На первом курсе студенты начинали писать «курсовые» работы. Я «выискал» себе тему: «Топонимика в романах Мельникова-Печерского». Писал сей свой труд под руководством аспирантки кафедры русского языка Зои Скворцовой, дочери педагога и писателя Николая Васильевича Скворцова, с которым подружился уже после, в Союзе писателей. А в ту осень в назначенный день я стал лихо «защищаться». Но вдруг дверь из коридора растворилась и предо мною возник Алексей Василькович:

— Чем заняты? Курсовая? Ну а как называется тема?

Ему сообщили название.

— Так, — продолжил разговор Миртов, — поставьте юноше пятерку. За отвагу! Он написал эти работы за два месяца. Я, если бы взялся за подобную тему, писал бы десять лет! Поставьте ему пятерку, за отвагу! — и ушел, не прощаясь, куда-то в темень факультетских коридоров. Скворцова все же мне поставила четверку, и я был счастлив!

Спустя несколько дней меня «захватили» фотографироваться на Доску Почета. И опять все случилось на кафедре русского языка.

— Куда опять этого юношу снимаете? На доску? Так вы бы посадили к нему какую-нибудь девицу! Так-то ладно будет! — снова провещал Миртов.

…Почему-то мне запомнился его рассказ о начале учительства в Симбирской гимназии.

— Ведь там нас все знали! Учитель гимназии в форме, и все раскланиваются. Я приходил на берег Волги, тихонько покупал дешевые пирожки с бутором и, спускаясь с Венца, шел на прибрежные пески. Там, встав спиною к городу, вынимал свои «пирожки» и жадно поедал их. Мы слушали, вздыхали, жалели нашего профессора! Его главную работу «Донской словарь» я не читал, но много о ней слышал, в том числе в шестидесятые годы, когда побывал у Шолохова. Миртов преподавал кому-то и из великих князей, но об этом нам уже не рассказывал.

На всем поколении наших учителей, в основном, едва преодолевших тридцать-сорок лет жизни, лежал след Великой Отечественной войны. Со дня Победы прошло всего двенадцать лет. Все воспоминания были свежи! Но одновременно это было время и какого-то забвения. Эйфория первых послепобедных лет прошла, ордена носить не решались! Поэт-фронтовик написал по этому поводу:

Ордена теперь никто не носит,
Планки носят только чудаки!
Да и эти носят, словно просят,
Словно, извинясь, за пиджаки!

Но мы знали, что Иван Кириллович Кузьмичев — сталинградец, что спокойный и мудро-рассудительный Борис Николаевич Головин прошел от «звонка до звонка». Для меня было решительно-неожиданными «фронтовые рассказы» Владимира Григорьевича Бараховича, преподававшего нам латинский язык и античную литературу. Он, оказалось, был лейтенантом-переводчиком в танковой части. Не помню, по какому-то поводу он поведал нам про штурм Вены. Когда еще сохранялась «пора перестрелок», он забежал в подвал, в маленький книжный магазинчик, где теснились старинные тома. Продавец страшно был перепуган появлением русского офицера, который его сразу же ошарашил вопросом об античных изданиях. Продавец, пораженный, что в «варварской армии» есть такие знатоки, ползал по полкам, отыскивая Тита Ливия или Софокла. Ну, одним словом, что-то отыскал, чем-то утешил «русского начальника».

С Владимиром Григорьевичем у меня сложились чудесные отношения, но я так и не выбился из оценки в три балла. В переводах путался среди сказуемых и подлежащих. Барахович язвительно улыбался и сообщал мне: «Товарищ Адрианов, вас не с кем сравнить в вашей группе,

ну, разве что с Собко!». Сравнение с этой девицей не делало мне чести, но я терпел. Соглашался. А Владимир Григорьевич ставил мне «тройку», и я был счастлив!

Доцент Александр Алексеевич Еремин являлся еще и членом Союза писателей. Он собирал нас — поэтов ГГУ. Приходили на эти сборища: Валя Герасимов, Саша Цирульников, Валера Шамшурин, Рита Ногтева, Толя Вострилов... Позже в «Горьковском университете» дали большую подборку моих стихов с доброй статьей Еремина. По-моему, эта группа просуществовала с полгода, далее мы все стали двигаться к Пильнику. Но Еремин — один из первых членов Союза, которых я увидел.

В те дни на факультете даже висел лозунг: «Вся власть — поэтам!». Выпускалась газета «Кажинный день». Это было «стенографическое» издание! Длина его шла от шести до восьми метров. Придумал издание Толя Пилипенко, который в ту пору был мужем Ирины Морозовой. Я стал главным рисовальщиком газеты. По нашим понятиям, издание это было «левым», там печатались шутки, которые проходили лишь из-за великого терпения наших педагогов. Помню выпуск к фольклорной конференции и огромный антифольклорный плакат: «Я порвал с фольклором, а ты?», бабка с автоматом Калашникова на шее: «Фольклор не пройдет!», дед, пародийно выражавший плакат Моора: «Не записывайся!». Самое главное, были веселые речения Толи Пилипенко

Но вот в эйфории свободы произошел срыв. Мы к третьему курсу уже стали забывать Алексея Васильковича Миртова, но он появлялся на факультете и внимательно читал нашу газетенку. Как-то он увидел на себя карикатуру, где Миртов целуется с кем-то из гостей, повиснув на шее и поджав ноги. Реакция была громовой. Нас вызвали к декану Серафиму Андреевичу Орлову:

— Друзья, — восторженным голосом начал декан. — Друзья! Вы ошиблись, надо снять газету, Алексей Василькович пожаловался мне на вас!

Газету сняли, и она вообще перестала выходить.

— В чем дело? — спрашивали педагоги.

— Миртову не понравилась ...

Но газета сохранялась в «запасниках» на факультете еще несколько лет. В шестидесятые годы я забрал ее окончательно в нашу редакцию, на телевидение, где она и погибла от нашего же невнимания окончательно.

Наш студенческий эстрадный театр — НЭТ был самым первым подобным театром в городе, ТЭМП у политехников появился позже, вдогонку.

А история возникновения его необычная: осенью 1959 г. отправились в командировку: А. Цирульников, Б. Грехнев, Л. Флаум, Ю. Адрианов, В. Лысяков... Мы ехали на встречи с сельским населением с. Тоншаево. Тогда там, после окончания нашего факультета, работал Толя Вострилов. Целую неделю путешествовали на санях, на машинах по «тоншаевским краям». Пели, читали стихи: Владик Грехнев читал лекции. Народу собиралась — толпа. Ведь телевизор только-только пробирался в сельский центр, деревни все были тихими, без экранов. Слушали нас с величайшим почтением. Помню в одной из деревушек, в самый разгар лекции о Пушкине, погас свет. Люд не зашумел, только кто-то робко попросил свету на сцену. Помню, что тотчас вынесли на стол к Грехневу то ли свечу, то ли керосиновую лампу. Владик продолжал ходить вдоль сцены, и зал затаенно слушал его. Голос у Грехнева был громкий, ясный, так что ничто не нарушило течения речи. Когда, где-то под конец рассказа, снова вспыхнул свет, то по залу пробежал лишь тихий одобрительный шумок. Теперь-то я понимаю, что мы тогда присутствовали при удивительном «действии» грехневских будущих лекций, о котором так часто вспоминают его ученики. «Грехневские манеры», молчаливые прогулки по школьным коридорам — потом переняли и его ученики в одном из сельских районов, где он преподавал после ВУЗа до перехода в аспирантуру. Владик был удивительным человеком, умевшим себе подчинить всех, кто общался с ним... Ну, об этом я еще расскажу подробнее.

А в тот наш вояж, наездившись, наволновавшись, раскрепощенно почувствовав жизнь, мы решили, — не помню чья эта задумка, мне кажется Филатова — сделать театральное действо «Семь дней, которые потрясли Тоншаево». В верхнем факультетском вестибюле устроили «театральный зал»: стащили в него стулья из всех аудиторий. В той части зала, где должна была быть сцена, взгромоздили трибуну и на ней появился Женя Филатов. Он сообщил, что НЭТ — это наш эстрадный театр. Что он подобен японскому театру — в нем женские роли исполняют мужчины и так далее. Он выкладывал на трибуну свой текст и читал его. Потом появлялись и мы, иллюстрируя сценки. Я, помню, с Сашей Цирульниковым воспроизводил старуху, одну из тех, с кем мы встречались в нашей фольклорной практике, говорил и про первую «ерманскую» и про вторую «ерманскую», что-то напевал смешное... Видимо, все это было веселым, зал ревел, а мы после всего произошедшего испытывали странное удовлетворение, облегченное и светлое...

В марте 1961 г. мы передали в нашем спектакле о запуске человека в космос, и все поверили, так что спустя две недели с трудом приняли полет Гагарина! Конечно, я не думал, что два года спустя, Саша Цирульников, Толя Вострилов и я познакомимся с Юрием Алексеевичем, еще 4 года пройдет, и я вместе с десятью ровесниками-писателями буду вместе с Гагариным принят в почетные казаки станицы Вешенской, будем целыми днями с Гагариным вместе, и пировать у Шолохова, и в футбол играть! Об этой славной поре я пишу в очерке «Как нас в казаки принимали».

А НЭТ наш расширялся за счет «молодежи». Там появился Саня Щетинин (у которого на его «визитке» написано, что группа крови «первая»), Коля Смолин, Леша Гороховский и другие...

Хорошо, что многие песни живут на истфаке и поныне. В первой же нашей постановке прозвучал гимн истфака: «Я люблю свой истфил, что само по себе и не ново!» Я помню, как шел в снежный день через площадь на Ошаре, и тут вдруг началась переплавка стихов Константина Ваншенкина на наш лад. Песен переписано великое множество, этот эстрадный прием, популярный в те годы, мы, кажется, израсходовали сполна! Учились мы уже получше, чем на первом курсе. На третьем или четвертом я чуть было не получил именную «Толстовскую» стипендию. Сдав на «отлично» спецподготовку на военной кафедре, философию, еще какие-то два экзамена, я пошел победно на экзамен «Педагогика» к Ляпунову. На его лекции ходили как на шутку. Лектор вещал: «Раньше как учили: проносили портрет одного царя, другого царя — вот и получалась история царей, а не народов!». И все в этом плане!.. Я взял билет: десять качеств советского учителя. А это был вклад Ляпунова в нашу педагогику. Начал: «Принципиальность, правота...»

— Нет, нет, — заорал педагог. — Сначала правота, а потом принципиальность...

Скандал разыгрался. Все не понимали нашего спора. Но ответ оказался простым: педагог уже поставил кому-то «пять», а по две он не ставит. Ух, долго просил его нарушить завет декан Орлов. Но тщетно!

Последний год на факультете принес новые беды: мы поругались с Потявиным. Я был изгнан из «фольклорной дипломной».

На зимней сессии я пришел сдавать русскую литературу начала XX века к Алексеевой. Взял билет, читаю: ранние рассказы Серафимовича, второй вопрос — басни Демьяна Бедного. Ариадна только вздохнула: «Ох, какие неприятности! Ну, знаете, Юрочка, давайте потолкуем о литературе вообще...» И пошел дружеский разговор о Гумилеве, Сологубе, Ахматовой. Я поделился своей бедой. Она мне предложила тут же писать работу у ней. «Эволюция жанра поэмы в 1940-60 годы» — такой стала моя дипломная работа. Писалась она легко, свободно: я, зная кому пишу, вольно излагал материал. Работал стремительно, с каким-то восторженным интересом. На факультете собирались редко, все чаще торопился я в Дом ученых, в Союз писателей, где готовили первую книгу.

В первомайском номере «Горьковского университета» была напечатана целая полоса моих стихов. Многие стихи из нее: «Провинциальные Гомеры», «Натка», «Над седым залесьем тихо-тихо...» и другие я включаю в свои избранные.

1962 год — год определения в жизни! С этих пор началась подлинная поэзия. В том же году под названием: «Знакомьтесь, Юрий Адрианов» — появились мои стихи в «Литературе и жизни», затем вместе с Сашей Цирульниковым мы опубликовали стихи в № 9 журнала «Октябрь». Потом следом пошли «Знамя», «День поэзии 1963», «Молодая гвардия», «Смена» и далее...

В весенние дни последнего года наш факультет покидал свой Университетский переулок. Химфак съезжал в новое здание, а его апартаменты навсегда переходили во владение истфака. Неуютно было в новом здании. Там стоял какой-то «химический воздух», было просторно, но мне казалось как-то одиноко!

С той поры прошло сорок два года. Выучились и выросли новые поколения историков и филологов. Несколько поколений, талантливых и разных! Годы прошли, идут... А все же нет-нет, а глаза и душа приведут к старому Мышкину переулку, и тихо начинают петь губы:

Старый дом за углом
Не могу на тебя наглядеться,
Помнит он о былом,
О прослушанном море лекций.

Здесь я жил и дружил,
Здесь науки слегка я коснулся.
В лагеря уходил,
Лейтенантом домой вернулся...

ДНИ И НОЧИ СПЕЦКАФЕДРЫ

Когда осенью 1957 г., после работы на целине, мы пришли в двухэтажный дом в переулке, возле кинотеатра «Палас», эта студенческая обитель была перенаселена: под ее крышей ютились не только историки и филологи, но и весь биофак со своим обширным музеем, подопытными собаками, которых потрошили будущие ревнители экологии. Размещалась там и военная кафедра. Её населяли полковники, подполковники. Все, конечно, фронтовики. Тогда мужской народишко редко шел на истфак или биофак, поэтому с двух факультетов набрали всего один полувзвод: человек двенадцать. Помню светлый день начала октября, когда подтянутый подполковник вывел нашу юную штатскую сволочь на беговую дорожку стадиона «Динамо»:

— Я подполковник Жиганов. Буду вести ваше военное обучение четыре года!

Началась строевая подготовка. Этот день огорчил меня. Я, оказалось, плохо еще разбирался, где «право», где «лево». И когда раздался резкий крик: «Товарищ студент! Что, все идут не в ногу, а вы один в ногу?!», — сердце похолодело: я понял, что речь идет обо мне! Прав Александр Васильевич Суворов — «в ученьи трудно»!

Через четыре года, на удивление себе же, я стану отличником по строевой подготовке, даже полюблю лихость команды «На руку!». Познаю маленькие хитрости, что перед «артикулами» надо легонечко отвинтить затыльник на прикладе карабина: он будет при упражнениях лихо позвякивать. Молодцевато! Радостно! У нас был специальный «военный день», один в неделю. А наши ненаглядные красавицы-однокурсницы в это время шли в кино или, чтс еще обиднее, пока мы «на фронте», легкомысленно гуляли с настоящими офицериками. Не успели свыкнуться с «армейскими» буднями, как все спецкафедры вузов города, решено

было собрать в мотострелковые группы и устроить настоящее сражение за городом возле деревни Ольгино. Ранним утром нам выдали трехлинейные винтовки с трехгранными штыками, загрузили в кузов грузовика пару пулеметов типа «Максим» и повезли по Арзамасскому шоссе за Мызу. Там мы спешились, построились вместе с другими институтами — водным, строительным — во взводные колонны, и двинулись на позиции.

— Веселее, веселее, с песней, — подбадривал Жиганов. — Что-то Турасов нынче грустный!

— Товарищ подполковник! В такое утро не хочется умирать!

Потом грянула песня, и Жиганов тут же незаметно отстал...

Вы послушайте-ка, дети,
Объявилася на свете —
Фракция!
Наша партия едина,
До каких же пор терпима —
Фракция.
Затянули волокиту.
Чтобы сбить с поста Никиту.
Фракция!
Не существенно — стар или молод ты:
Распростились с столицею милой:
Маленков. Каганович и Молотов
И примкнувший к ним Шепилов!

...В России начинал ощущаться забытый всеми ветерок свободомыслия, и нам было весело от этого озорства. Народишко наш одет, в основном, как ополченцы, в ватниках, сапогах. Нам приказали спуститься в кювет и залечь. Станковые пулеметы выдвинули вперед. «Генералы» стояли над нами, радуясь воздуху предстоящей битвы. Я оглянулся: они стояли точь-в-точь, как на изображениях 1812 г., сделанных офицерами-рисовальщиками наполеоновской армии — Фабер-дю-Фором или Адамом.

— Товарищи студенты! — громко сообщил начальник нашего сражения. — Сейчас прилетят самолеты и обработают передний край противника. Произойдет тактический атомный взрыв. Затем пойдете в атаку. Там в овраге ваш воображаемый противник. Это курсанты речного училища! Советские люди! Так что осторожно со штыками. А сейчас — штыки примкнуть!

Точно от Богородска прилетело три двухкрылых аэроплана, видимо, из ДОСААФа. Потом взорвалась, подлетев в воздух, какая-то бочка и медленно вырос «ядерный гриб». Взвились ракеты, и бесстрашное студенческое «Ура!» огласило печаль октябрьских холмов. Взяв наперевес «трехлинеечки четырежды проклятые» мы ринулись бегом. С пистолетом «ТТ» впереди всех бежал будущий профессор истории Игорь Оржеховский. Бросали взрывпакеты, жгли дымовые шашки, за спиною холостыми трещали пулеметы «Максим». Мы скатились в неглубокий овраг. Там действительно оказались речники в черных бушлатах. Они сразу сдались: видимо, мерзли с утра. Все обошлось без потерь. Нас отвезли к факультету, где мы сдали винтовки, а наши полковники «усталые, но довольные» вернулись домой.,

Сейчас это все вспоминаешь с улыбкой. Как некое действо. Но учили нас максимально серьезно, и к занятиям на спецкафедре большинство нас относилось свято: ведь мы были дети Великой Отечественной войны, а Дмитрий Иванович Жиганов остался светлым воспоминанием тех лет, на равных с профессорами Орловым, Головиным, Кузьмичевым...

На кафедре, скажем, педагогики было обилие недалеких людей. А вот этот строевой офицер-фронтовик нашел мужской подход, откровенный и чистый, к нашим сердцам. Он по-хорошему нас не жалел: мы в овра-

гах Малиновой гряды отрабатывали «бой в горах», возле университетского городка на мокром глинистом склоне разыгрывали атаку ночью, зимой он гонял нас возле Ближнего Борисова в пуржистую погоду с полной выкладкой. Как-то во вьюжный день наш взвод понес потерю: пропал без вести рядовой Цирульников.

— Адрианов! — сказал подполковник. — Ты прилично ходишь на лыжах! Поищи-ка своего друга. Он далеко не уйдет!

И точно: только я ворвался на деревенскую улицу, а небо уже воссияло! Увидел мирную сцену: по дороге, вдоль домов, спокойно и не торопясь, идиллически шествовал мой Сашка. И какие-то бабенки сидели у домов. Все бы ничего, но на шее у Цирульникова беспечно, словно подруга-гитара, висел... ручной пулемет. При этих учениях мы порою входили в «населенные пункты». Вид был пестрый: плащи, береты и автоматы Калашникова, которые к концу пятидесятых рассекретили.

— Батюшки, да что это, война что ли? — волновались «мирные жители».

— Да, — говорил неутомимый Валя Турасов — Конечно, война! Уже два дня воюем... с Турцией!

И в учебных классах, на ящиках с песком, где разыгрывали бои, всегда было место шутке. Помню в Горький (редкое дело!) приехала делегация из ГДР во главе с Вальтером Ульбрихтом. Турасов опоздал на занятия минут на десять. Когда он вошел, Жиганов строго спросил: «Студент Турасов, почему опоздали?»

— Товарищ подполковник, — шепотом начал Валя. — Товарищ подполковник, вы знаете последние сведения?

— В чем дело, говорите!

— Товарищ подполковник... в городе немцы!

При новом, нами же отстроенном здании университета, кафедра широко раскинула свои шатры. Во дворе стояли машины-радиостанции, где учились радиофизики. Парк охраняли посменно, всем миром. На дежурство приходили впотьмах. И под прожекторами приходилось ходить в зимние холодные ночи. Правда, давали тулуп. Оружия не давали: ни карабина, ни ножа-штыка, но была солидная палка, которую на всякий случай таскали в руках. Правда, случались и «ЧП». Когда дежурил какой-то студентик-радиофизик, полковник Новожилов решил проверить посты и бдительность охраны. Он при своей каракулевой папахе и шинели перелез через забор, стоял спиной, и получил удар палкой вдоль хребта. Вот оказия! Студент понял свою ошибку, мысленно попрощался со стипендией и комсомольским билетом. Но бравый полковник скомандовал: «Смирно!», и зычным голосом поблагодарил за службу.

— Служу Советскому Союзу! — ответил школяр!

С Дмитрием Ивановичем Жигановым мы расстались большими друзьями. Сбросились и устроили банкет в ресторане «Волга» на нижнем Базаре. В министерстве нам без последних сборов подмахнули звания младших лейтенантов. В ресторане орали, что «гуляют русские офицеры». И усердно пели куплет из факультетского гимна:

По заслугам и честь:
Нас Жиганов водил в вихре боя.
И стипендия есть,
Жизнь, ты знаешь, что это такое!

Лет через двадцать, на сборах армейской газеты, когда некоторые на полевых гимнастерках носили погоны подполковников, чаще майоров и капитанов, мои однокашники с любовью вспоминали нашего учителя с военной кафедры, который ненавязчиво, на редкость разумно привил нам уважение к самой мужской профессии — «защищать Родину».

Вот уже и военные билеты мы сдали... и в «нас не нуждаются»... А вспоминаются наши давние добрые дни.

«Вертикаль. XXI век», Выпуск 12-13, 2005 г.